

**All rights reserved**

**Все права сохранены за автором**

**Склад издания: Книжный магазин**

**Victor Kamkin, Inc. 2906-14th street N. W.  
Washington 9, D. C.**

---

**Buchdruckerei EINHEIT, Inh. I. Baskirzew,  
München 8, Hofangerstr. 73.**

**№ 6 '66**

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Рассказы Виктора Робсмана — выполненные миссии, ответственной и суровой: не рассказывать, а показать всю жестокость, бездушность и бесчеловечность советской жизни. Пишет он не для развлечения читателя. Он выполняет высокий завет — передать, что глаза видели, а видели они много. С 15 летнего возраста, он сначала сотрудничает, а потом становится корреспондентом газет в Харькове («Вечернее Радио», Харьковский Пролетарий»), а позже в Москве («За Пищевую Индустрию», «Известия») и, наконец, перед самым уходом из Советского Союза, он автор двух книг «Советский Таджикистан» и «Советский Памир», сотрудник научного журнала «Восточный Мир». В качестве корреспондента «Известий», он видел коллективизацию на Украине. В середине тридцатых годов он становится постоянным корреспондентом «Известий» в Туркменистане. Его тянет к единственной доступной границе на Востоке, и он с молодой женой уходит в Иран в полную неизвестность, рискуя и своей и ее жизнью.

Почему? Ему лично большевики ничего не сделали, его они не обидели, ему ничего не угрожало. Перед ним была карьера журналис-

та, писателя. Старой жизни он не знает, — во время революции Робсману было всего 9 лет. Всё его воспитание проходит при советах: семилетка, профшкола, один год Харьковского Технологического Института и, наконец, Институт Восточных Языков, где он становится аспирантом. Что же толкает его на уход в полную риска неизвестность? Старый уклад семьи затеплил в его душе светоч веры в Бога, правды и человечности. Его большевики не обидели, но они обидели человека и оскорбили Бога.

В одном из его рассказов «Дочь Революции», мать, оторванная ссылкой от дочери и потерявшая ее, обращается к автору: «Бегите, — шептала она воспаленными губами. — Какая счастливая мысль! Ведь это подвиг! Помните, что честному человеку здесь делать больше нечего. Мы разлагаемся...» — и кажется, что этот призыв уйти и рассказать правду, руководил потом всем творчеством Виктора Робсмана. В этом движущая сила его рассказов.

Со страниц книги глядят на нас своими невидящими глазами и опустошенной душой люди, на которых опирается коммунистический режим. Их глаза не видят истинной правды, их душа не знает Бога. Жутко!

Но в этом мраке есть живой проблеск. Появление рассказов Виктора Робсмана, само по себе, показывает, что русская душа жива под спудом советской действительности. Она жива, если в человеке, воспитанном, как Виктор Робсман, в советских условиях, не смогли за-

глушить любовь к человеку, страдание за него и голос правды.

Рассказано все на фоне живого, образного описания природы.

«Кругом нас собирались сумерки, земля чернела, и запоздавшие птицы торопливо искали свою потерянную ветку». («Весенняя Посевная»).

Или:

«Пока мы шли в облаках, еще можно было увидеть землю и не сбиться с пути. Но облака сгущались, темнели и, встретившись, начинали сварливо грохотать, раздраженные друг против друга, как недобрые соседи. Потом пришла большая, тяжелая, черная туча, и зацепилась за хребет. Мелкие облака заволновались, и не успев загрохотать пропадали бесследно. Другие собирались вместе, и тогда удар грома был сильнее и продолжительней. Но большая туча поглощала всех их без труда, убивая каждую молнией на месте. Она всё росла, тучнела, отовсюду поджигая небо, грохоча всем своим черным нутром, и угрожая всем. Пресыщенная, она уже была не страшна, она больше не могла удержаться на небе, и скоро повалилась на землю проливным дождем.» («Побег»).

Язык Виктора Робсмана прост и выразителен. Он звучит и льется. Это язык старой русской литературной традиции художественной прозы, язык инстинного, а не «социалистического» художественного реализма.

**Владимир Гзовский**

*„Боже, дай полюбить еще больше людей! Дай собрать в памяти своей все лучшее в них, припомнить ближе всех ближних и, вдохновившись силой любви, быть в силах изобразить! О, пусть же сама любовь будет мне вдохновением!“*

**Н. В. Гоголь**



## ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Конечно, жизнь здесь другая и люди тоже другие. Они даже разговаривают по другому, — не так как мы, — хладнокровно, не повышая и не понижая голоса, и никого не задевают за живое. В споры вступают они редко, не спешат противоречить один другому, во всем соглашаясь, а делают по своему. Чужому счастью они не завидуют, и несчастьем тоже не бывают рады. Они живут медленно, не торопясь, и всё успевают сделать во время. Эти громадные дома, вытесняющие из города воздух и свет, и фабрики со всемирной славой строятся здесь сразу, бесшумно, как будто не людьми, а сами собой. Никто не знает когда здесь пахут, сеют, когда убирают урожай. И никто не знает здесь, что бывает нужда в хлебе — нужда в черном и черством его куске. Забота о хлебе насущном здесь устранена. Только дурно воспитанные люди едят без нужды много хлеба и напрасно расходуют много душевных сил. К людям с повышенными эмоциями относятся здесь подозрительно, как к душевно-больным. Все твердо знают, что нельзя принимать близко к сердцу обиду, огорчение, даже несчастье. Это не только вредно, но и бесполезно. Всякое беспокойство

—напрасно, а волнение — не разумно. В жизни должен быть порядок, удобства и покой. Молитва — тоже для покоя. Надо только выучить наизусть псалмы и уметь читать их нараспев, удобно сидя, отдыхая, но никак не волнуясь. Молитва должна успокаивать, а не волновать. В работе, как и в молитве, нужны удобства. Нельзя уподобляться неразумным животным и весь труд нести на самом себе. Труд человека должен быть разумным, радостным, легким. Надо как можно меньше работать руками. Черная работа не для человека, её должен выполнять механизм, валики, поршни, колеса, двигатели. Даже лошадь освобождена здесь от черной работы, а человек — тем более. Человек создан для разумного, творческого, плодотворного труда. В жизни всё ясно. Нельзя, не нужно и вредно жить мечтой, когда всё ясно и сама жизнь прекраснее, чем мечта.

К такому душевному покою среднего американца не может привыкнуть недавний советский житель, у которого душа возмущена. К тому же, личные обиды и неудачи мешают нам видеть правду. Жизнь наша не удалась по вине преступников, которые воспитали нас дикарями и лишили нас всего, что дал нам Бог. И потому, на каждом шагу, при каждой новой встрече в этой стране, возвращающей нам потерю, нас волнуют разные чувства: очарования и разочарования одновременно. Мы всем поражены и ничем не бываем удовлетворены.

Такие больные мысли и сопоставления особенно остро волновали меня в то время,

когда я впервые подымался по движущейся лестнице на вокзале Пенсильвания в Нью Йорке. Здесь я не встретил несчастных мужичков с котомками и чайниками в очереди за билетом, как это было у нас, когда мы строили «фундамент социализма». Не было здесь голодной толпы труженников земли, одетых в лохмотья, униженных страхом и нищетой, бегущих, Бог знает куда, от родной земли, как это было у нас, когда «фундамент социализма» уже был построен. Я не нашел здесь зала ожидания третьего класса, для черни, со смердящим запахом разложения, со спящими вповалку на холодном каменном полу едва одетыми людьми, как это было у нас, когда мы вступили в «бесклассовое общество».

Странно и неловко было мне подойти к билетной кассе, где не надо выстраиваться в затылок, и чисто одетая девица, приветливо улыбаясь, поблагодарила меня за купленный билет. Я даже подумал тогда, что она надо мной смеется.

Никем не обруганный, без угрызения совести, я не протиснулся в вагон, как карманный вор, а свободно и с почетом был пропущен к мягкому креслу. В вагоне никто не ругался за лучшее место и никто не готовился с чайником в руках к битве за кипяток.

Вот поезд прошел туннель, показал нам пригороды и предместья, и вырвался наконец из Нью Йорка в провинцию, где меньше огней, ниже дома, тише жизнь, но во всём разумный порядок и разумный покой. Из окна вагона я ещё не мог увидеть тогда жизни лю-



дей, населяющих эти, во всём схожие между собой, дома с безукоризненными постелями наверху и дремлющими гостинными внизу, с кухнями, напоминающими лабораторию ученого, с подвалами заставленными аппаратами и машинами, которые охлаждают, нагревают, освещают каждый дом, как бы ни был он беден, и где за водой никто не бегаёт к колодцу. Но я увидел тогда лишь только светящиеся города, прилегающие близко и тесно один к другому, от чего казалось, что повсюду горит земля, и благодаря этому свету сама земля становилась веселей, радостней; она говорила, что все живёт!

Ища сходство и подвергая сравнению жизнь американской и советской провинции, я вспоминал наши глухие дома, где уже с вечера плотно закрывают на засов наружные ставни, а ворота одевают на цепь. Все здесь притаились, замерли и как будто ждут несчастья. На безлюдной и всегда темной улице появляется, как на экране, ночной сторож и гонит от себя сон музыкой деревянной колодушки.

— Чем живешь, старик? — бывало спросишь такого старика.

— Подаянием . . .

— А разве тебе жалованья не платят?

— Я не ударник, чтобы жалованьем прожить . . . — и, выпросив цыгарку, пойдёт своей дорогой.

Тем временем, новые пассажиры отвлекают мое внимание. Они спокойно и по деловому входят в вагон и, учтиво осматриваясь по сторонам, не торопясь занимают место. Им всюду

хорошо — ничто не может заставить их изменить свои привычки, свои понятия, свое поведение и раз навсегда установленный порядок жизни. Эти черты сближают здесь людей; делают всех американцев равными и потому трудно бывает отличить горожан от жителей провинции, деревни. Может быть поэтому я долго не мог понять, кто сидит со мною рядом: ученый или фермер? На нем не было лаптей, он не сморкался на пол и своими манерами он ничем не отличался от остальных.

«Наверно ученый, или фабрикант» — наивно рассуждал я, как ребенок. А когда разговорились мы с ним, то оказался он фермером, т. е. по нашему «мужиком от сохи». Он обрадовался случаю рассказать о себе и о своем хозяйстве, не ожидая похвалы и не жалуясь на то, что его рабочий день начинается ночью, но теперь он сам себе хозяин, уже выплатил последнюю закладную, приобрел скотины полный двор, которую любит, как свою семью.

Всю дорогу фермер развлекал меня фотографиями своих телок, овец, свиней, коров, объясняя породу и характер каждой, как будто речь шла о человеке.

— Триста два паунда (фунта)! — произнес он с восхищением, указывая на фотографию ожиревшего кабана из породы Вайт Чест. Он любовался этой бесформенной жирной массой и с увлечением рассказывал историю детства, отрочества и юности этого воспитанного и выкормленного им кабана.

Слушая его, мне было радостно сознавать, что машины, техника, цивилизация не унич-

тожили пафоса первобытного земледельца, не разрушили биологической любви землепашца к своей земле.

В это время мимо окон пробегают одна за другой деревни, вернее, отдельные усадьбы со службами на открытом месте, которые называются здесь фермами. На всех дорогах лежит вымытый дождем асфальт и по нем, то и дело, скользит легковая машина с американским мужиком у руля. При виде их, в памяти моей снова оживают картины одна печальнее другой, которые возвращают меня домой, в разрушенную колхозами деревню. Вот снова еду я по сёлам принуждать мужиков сеять хлеб, и вижу бегущего через дорогу тощего крестьянского мальчугана, без шапки, в дырявых отцовских валенках. Поровнявшись с подводой он недоверчиво смотрит на меня и чего то боится.

«Не за хлебом ли опять приехали?» — думает он, и бежит напуганный этой мыслью и кричит:

— Мамка-а-а! . . . Опять из города приехали хлеб увозить!

А там, уже пошла расти по дворам тревога.

Дальше, из-за поворота вижу идущую навстречу подводе усталую женщину, босую, повязанную платком, из под которого выпростались наружу русые волосы. Сподняя юбка её подобрана выше колен, и видно как она с трудом переступает ногами лужи, погружаясь по щиколотки в густую и вязкую слякоть. На лице её не видно ни радости, ни печали — она равнодушна ко всему. Увидев меня, лицо женщины быстро меняет выражение и дурные



предчувствия вызывают в ней всё ту же страшную мысль:

«Не за хлебом ли?»

Едва отъехав, слышу позади себя, как шлепает по грязи, разбрасывая во все стороны мокрые комья, заезженная лошаденка. Она без седла, и на ней не твердо сидит усатый мужик. Длинные его ноги неприятно болтаются по лошадиному брюху, сам он некрасиво трясется от неровной езды, но, в тоже время, где то под усами сохраняет достойный вид кавалериста. Но и он оробел, встретившись со мной, и на его лице можно прочесть все тот же мучительный вопрос:

«Не за хлебом ли?»

\* \* \*

Фермер привязался ко мне. Ему непременно нужно показать мне живым своего кабана, свою семью, свой дом, который сам строил. Он хочет угостить меня джином, виски, вином, пивом и даже водкой. Он хочет накормить меня всем, что производит земля, поиграть со мной в кегли, поудить рыбу, поскучать со мной у телевизора и не утомлять меня чтением никаких книг. Он хочет, чтобы я испытал наконец покой, полный покой, абсолютный покой, который нужен по его мнению каждому человеку, и который пугает меня, как преждевременная смерть.

А дождь всё идет, заливая землю. Но нет от него на дорогах распутицы, не слышно призывных криков застрявших в грязи пешеходов, не гаснут от него светящиеся города.

---

# ВОЙНА С БОГОМ

## I

В то время я был опасно болен. Кашель, мучивший меня по ночам, не был легкой простудой — начинался тот разрушительный процесс в легких, который казалось ничем нельзя уже остановить. Я догадывался об этом по мокрым глазам моей матери, по страданиям моего отца, изменившим его лицо, и по той чрезмерной и всегда заметной заботе, которую не умеют скрыть любящие сердца.

На дворе стояла суровая зима. Дороги были занесены снегом, и люди, как птицы в гнездах, сидели притаившись в ожидании перемены погоды. Метель никого не выпускала из города и нельзя было теперь обменять у крестьян рваные штаны на крынку молока.

— Сынок, — утешала меня мать, сама не веря своим словам, — нам только зиму пережить, а весной всё-же легче . . .

## II

Весной решено было поместить меня к матушке Марии в Хорошевский монастырь, недалеко от Харькова. Коммунисты не покушались ещё тогда на святые места и монастыри, хотя в городах уже разрушали древние храмы.

Матушка Мария дружила с моей матерью ещё до монашества, и я много слышал об её «доброй красоте», которая была ей в тягость, потому что вводит в соблазн людей. Долго мучилась она этим чувством и ушла наконец в



монастырь, где нашла свое настоящее призвание.

Одни называли её «тихой, как трава в степи», другие сравнивали её с полевыми цветами. Говорили ещё, что в глазах её родники текут и что её доброе лицо запоминается навсегда, как живопись бессмертного художника. Но в своем сердце она носила неизлечимую печаль, о которой знали немногие. Ей всё ещё было страшно вспомнить о смерти молодого студента, не сумевшего преодолеть своей любви к ней; его нашли мертвым в городском саду, с петлей на шее. После того, ей стала в тягость всякая земная радость и не могла она утешиться среди людей.

Мысль, что я увижу наконец матушку Марию, о которой так много и часто говорили в нашей семье, взволновала меня. Я торопился отъездом, и все показалось мне тогда лучше, чем было на самом деле.

### III

Монастырь стоял на возвышенности, поросшей кустарником и мелким орешником. Отовсюду далеко были видны всегда радостные и светлые купола монастырской церкви, охваченные сейчас пламенем заходящего солнца. Мы шли с мамой со станции Жихарь полем, минуя проселочную дорогу, чтобы поспеть к месту до темноты. Недалеко лежало село Хорошево, а внизу, у самого края его, протекала спокойная речка Уды, за которой сразу начинался и, казалось, нигде не кончался густой и частый сосновый бор, стоявший на

золотом песке. Кругом лежала раскрытая земля, как перед севом, и нутро ее было горячее. И птицы, которые возвратились в апреле и те что зимовали на плетне, на вишне и под осиновыми ветками, все они пели и радовались всему.

Тем временем, темнота обступала нас. Мы точно слепли. На гору идти становилось труднее, и мы не скоро пришли к монастырским воротам, придавленным темнотой.

— Чего надо? Ночь ведь... — ответил сторож на наш стук.

Мы назвали себя и просили пропустить нас к матушке Марии.

— Знаю... — ответил сторож добрея, и снял засов.

— Охальников теперь много развелось, — говорил старик, заправляя ручной фонарь, который осветил его восковое лицо, обложенное воздушной бородой, точно белым облаком.

— Не мудрено теперь и доброго человека за злодея принять, — продолжал он, как бы оправдываясь перед нами. — Держитесь забора, я вас к келии проведу, — и выступил вперед деревянной ногой, слегка припрыгивая, точно птица; он был калека.

Не смело переступил я порог келии. Запах ладана сразу отделил нас от земли. Все было здесь, как в тумане, и вздрагивающий свет лампадки напоминал вечернюю звезду. Маленькая женщина в черном вышла к нам навстречу, перекрестила нас худыми пальцами, а потом сказала смутившись:

— Пришли?

— Матушка, не потревожили мы тебя в такой поздний час? — спросила мама.

— Господь с тобой! Мы здесь без времени живем. Садись, где тебе лучше . . .

Долго смотрел я на матушку не сходя с места, и не мог понять: стара она или молода, точно не было у нее возраста, точно на самом деле жила она без времени, как всякая доброта, которая никогда не умирает.

— Поди сюда, дитя моё, — позвала меня матушка. — Не в гости ведь пришел. Ты у меня свой . . .

А я всё не двигался, всё любовался ею, всё ещё робел перед превосходством ее, которому не находил названия, потому что было оно не от мира сего.

— Бедное дитя мое, — сказала погода матушка, склоняясь молитвенно передо мной. — Узнала я болезнь твою: у тебя душа беспокойна.

#### IV

По утрам меня будил колокольный звон, и я спешил к церковной ограде посмотреть, как работает на колокольне карлик-звонарь, по прозвищу урод. Мимо меня проходили черной толпой монашенки с поникшими лицами, среди которых я легко узнавал матушку Марию, совсем не похожую на других. Живые ее черты не застыли ещё, мягкая улыбка проступала сквозь плотно закрытые губы, а на дне ее глаз, цвета морской воды, была видна душа, прозрачная и чистая, как слеза ребенка.

Потом, двое послушниц приводили слепую мать игумению, высокую и тяжелую

старуху, неподвижные глаза которой напоминали мне глаза покойника.

Я не долго слушал церковное пение, умиляясь каждым словом, обращенным к Богу, пока мой добрый друг карлик не спускался на землю с колокольни и не уводил меня в лес дышать сосной. Мы уходили с ним в глухие места, где жили одни лишь птицы. Он был с ними в особой дружбе и узнавал по голосу, чего они хотят.

— Почему ты позволяешь называть себя уродом? — спрашивал я, огорченный за него.

— Я к своему уродству привык, — отвечал равнодушно карлик. — Когда бы меня прозвали красавцем, то было бы для меня обидно. А зачем человеку красота? Это все люди придумали, а перед Богом все равны.

Я всегда удивлялся спокойствию и смирению этого незаметного человека, который ни к кому не питал обиды, никогда не жаловался и носил в своем маленьком сердце большую любовь ко всем.

«Легко ему...» — думал я про себя, и старался подражать ему в своих отношениях к людям.

Дома заставлял я матушку за молитвой, а на столе всё было для меня готово. Где доставала она в то время яйца, сливки, мед, сало со ржаным хлебом, оставалось для меня тайной. Она незаметно садилась подле меня со своими четками, стараясь угадать мои желания, и спрашивала:

— Хорошо тебе? Если что мучает тебя — скажи, не утаивай, и станет тебе легче...

Я отвечал, волнуясь:



— Матушка, мне так хорошо у тебя, что хочу плакать. Твоя доброта лечит меня.

И это было правдой. К концу лета я настолько поздоровел и повеселел, что жизнь моя была уже в не опасности. Что делалось тогда с матушкой Марией! Как хорошела она от радости, что вылечила меня молитвой.

— Дитя мое, — говорила она, — вот видишь теперь, что когда мы здоровы духом, тогда здорово и наше тело. Не лекарства лечат душевные боли, которые происходят от наших собственных ошибок и заблуждений.

— Не верь большевистской лжи, — продолжала она, увлекаясь и волнуясь, — будто только в здоровом теле пребывает здоровый дух. Знала я одного сильного человека, который руками мог вырвать из земли дерево с корнем, а ведь на том самом дереве удавился от душевной боли... — и, на этом месте своего рассказа, она заплакала, и поспешила с молитвой к образам.

## V

Но, вдруг, тихая жизнь монастыря была нарушена внезапным событием, произошедшим на моих глазах в одно раннее утро. К деревянным воротам подъехал вооруженный отряд.

— Отворяй ворота! — кричал не слезая с коня человек с огромной звездой на картузе.

— Здесь тебе не заезжий двор, — отвечал степенно сторож.

— Эй ты, старый колдун! Веди сюда игумену, у нас к ней дело есть!..



Но сторож продолжал стоять на своем.

— Не велено, — говорил он, — тревожить мать игумению в час молитвы. Проезжай мимо . . .

— Тебе, старик, видно жизнь надоела. Поторопись, пока твоя нога еще носит тебя! — и погрозил сторожу ручной гранатой.

Оробевший старик не стал больше возражать ему. Едва управляясь деревянной ногой, он поскакал по дороге к церкви, где шла служба, и борода его уносилась за ним, все больше напоминая белое облако. С трудом переводя дыхание, он вбежал за клирос не прекрестив лба, и стал упрашивать игумению усмирить разбойников.

— Изгони дьявола крестным знаменем, и не мешай молитве, — ответила строго игумения, и продолжала призывать монахинь к усердию.

Тем временем, человек со звездой не унимался.

— Веди сюда подлую старуху, — кричал он на старика. — У нас нет времени ждать пока кончит она свое бормотание . . .

Но игумения не явилась к нему и после службы; те же послушницы увели её в келью, где она бросилась на колени перед Распятием.

Напрасно сторож слезно просил за неё, говоря:

— Оставьте её, она слепая, и ноги у неё не ходят. Пожалейте старуху . . .

Но его никто не слушал. Ворота уже были раскрыты настежь, и монастырский двор, по

которому так безшумно ступали всегда монашки, где слышен был только шелест листьев и слабые голоса залетных птиц, наполнился теперь грязной бранью и топотом копыт. Притаившись у окна я видел, как двое молодцов, похожих на цыган, одетых грязно и бедно, вели к воротам слепую игумению. Она не сопротивлялась насилью, и с каким то больным состраданием смотрела на этих оборвышей своими невидящими глазами, точно видела она их. Все присмирели при ней, и сам старшина снял перед ней шапку со звездой, и сказал смущенно:

— Матушка! Мы привезли тебе приказ правительства сдать монастырь, и в двадцать четыре часа выселить отсюда монашек, которым ничего не разрешено брать с собой, кроме икон и священных книг.

— Кто ты? — ответила спокойно игумения. — Я не знаю тебя, сын мой. Если ты послан дьяволом, то как могу я подчиниться тебе, служба Богу. Нашей вере не чинили препятствий даже татары, когда держали в неволе православный народ...

— Матушка, — прервал её старшина, становясь смелым и дерзким. Прекрати свою старческую болтовню и не теряй времени. Объяви монашкам выселиться, да попроворней, а не то, я пошлю к ним своих людей.

В это время, незаметно для всех, карлик-звонарь взбежал на колокольню и стал звонить в большие колокола, как при пожаре, сзывая народ. Мужики и бабы бросали работу, и кто с чем был, с тем и бежал к монастырю.

— Эй ты, урод! — закричал старшина решительно, и выхватил маузер из за пояса. — Прекрати трезвон, а не то, быть тебе мертвым через минуту . . .

Но тот не слышал угроз. Душа карлика ликовала, потому что никогда еще не был он так близко к Богу. Я бросился из комнаты спасти своего друга, не думая в это время о своих слабых силах, но было поздно: раздался выстрел, и маленькое тело карлика свалилось с колокольни на землю. Тихий стон пронесся по двору и замер. Никто не тронулся с места, когда карлик, похожий на ребенка, лежал с открытыми, но уже не живыми глазами, обращенными к небу, истекая кровью. А где была его добрая душа? Разве могла убить её пуля преступника!

Слезы отчаяния мешали мне видеть, как пала на колени мать игуменья, как громко молилась она за убийцу, смутившегося вдруг, как из всех келий выходили монахини, присоединяясь к молитве, которая казалось открывала всем вечную тайну.

## VI

В это время, сторож-калека, с необычайной для него живостью бегал на одной ноге от келии к келии, упрашивая монахинь тащить своё добро к забору, у задней кладбищенской стены, где добрые мужики из соседних сёл подбирали всё и прятали у себя в избах. Белые узлы, тяжелые сундуки, кованые железом, какие-то древние шкатулки и ящички то и дело летели через забор. Всё за-

шевелилось, как пламя большого пожара, как будто на самом деле шла война, и мирные жители бегут от наступающего отовсюду врага. А по дороге к монастырю шел уже пеший отряд красноармейцев, чтобы усмирить мужиков и баб, собиравшихся большими толпами, готовых с лопатами и вилами защищать монастырь.

Когда к вечеру собрались мы с матушкой Марией на станцию, солдаты буйно веселились. Они вырывали из могил кресты и ходили с ними по монастырскому двору процессией, распевая похабные песни. Они удерживали молодых монашек, приглашая их выйти замуж и строить социализм. Другие, без слов, тащили монахинь в темноту, и жалобные крики несчастных доносились из-за каждого куста.

Трудно было и нам вырваться из этой толпы разгулявшейся черни; они хватали матушку за полы и лезли целоваться.

— Красавица, куда бежишь? Довольно пожила с Богом, а теперь с нами поживи . . .

— Звери! . . . кричал я, царапая и кусая чьи-то потные волосатые руки. — За что вы мучаете этих слабых, беззащитных женщин!..

Пока я призывал преступников к милосердию, вызывая в них веселый смех, незаметно для меня исчезла из виду матушка Мария.

«Где она?», — подумал я с ужасом, и бросился искать её. Но в это время, из темноты послышался её призывающий голос, полный детского страдания, и я бросился к кустам. Но она уже шла ко мне навстречу, шатаясь и вся потрепанная.



— Бежим! . . — говорила она, а сама стояла неподвижно, как мать перед могилой своего ребенка.

— Бежим! . . — повторила она, не двигаясь с места. — Разве ты не видишь, что за нами гонятся? . .

С усилием я вывел ее за ворота, и мы пустились бежать, спотыкаясь на кочках и падая в ложбины.

— Их тысячи, а нас только двое . . . — повторяла она с такой заразной тревогой, что я начинал уже этому верить. Как, вдруг, она остановилась среди дороги, повернулась к пустому полю, и залилась неудержимым смехом, напоминавшим рыдание.

— Опомнись, матушка . . . — просил я. — Уже скоро станция . . .

Но вместо ответа, она подобрала рясу и пустилась в веселый пляс. Руки её носились по сторонам, они что-то просили, кого-то звали, хотели сказать что-то самое главное.

«Боже мой!» — вскрикнул я, не владея собой, — «Она сошла с ума!».

## VII

Не помню, как доехали мы до Харькова, как встретили нас дома и что было после того со мной. Не скоро узнал я, что матушку Марию поместили в дом для душевно-больных, который стоит на Холодной горе и зовется «Сабуровой дачей».

---



## ВЕСЕННЯЯ ПОСЕВНАЯ

### I

Все незаметно преобразилось. Еще недавно деревья дрожали раздетые и нигде не было видно черной земли. Люди прятались во всякую тряпку, надевали на себя все, что есть, и по этой странной одежде нельзя было отличить мужика от бабы, старых от молодых. Все в равной мере страдали от морозов и трудно сказать, в чем больше терпели люди нужду: в дровах или в хлебе. А теперь — вся земля открылась вдруг, голые ветки зашевелились и отовсюду побежала живая вода. Между избами, и дальше к колодцу уже протоптали веселые дорожки, но их скоро размывало дождем, и девки ходили по слякоти босыми. На проезжих дорогах еще стояла распутица, но в колхозах уже спешно составляли списки полевых бригад, разлучая мужиков с бабами, матерей с грудными детьми, и гнали их в поле перевыполнять нормы. Уже из города приезжали бригады бездельников на охоту за людьми, которые всегда в чём-нибудь виноваты перед советской властью. Село пустеет, и только тяжело больные и старики, у которых дни сочтены, кряхтят и стонут в заброшенных избах. Многие больные просят в

поле, чтобы заработать трудовень и быть равноправными едоками в своем колхозе.

В такое время отправился я с агрономом земадела в Смелу, богатую когда то сахарной свеклой. По дороге мы часто встречали сахарные заводы с торчащими вытяжными трубами, давно бездействующими без свеклы. Другие, слабо дымились, указывая на угасающую в них жизнь. Все теперь заняты были здесь севом свеклы, и уже многие пострадали из-за нее напрасно.

Утро было влажное и мы зябли. Агроном бережно и не торопясь скручивал на холоде папиросу, внимательно заправлял ее в мундштук и, подбирая с кожуха крошки, вкусно затягивался дымом. Не поднимая глаз, он сказал ни к кому не обращаясь:

— Почему он везет нас по этой дороге? В такую распутицу и на грунтовой дороге легко потонуть, а здесь тем более...

Повозившись с папиросой, он заговорил снова:

— Не езда, а мучение. Так, пожалуй, и к вечеру не доедем до села. Сколько ни едем, а всё ещё кроме хвоста кобылы ничего не видно...

Слабая лошадь, вся в болячках, с трудом вытаскивала нас всех из густой грязи, и часто подолгу останавливалась передохнуть.

— Она у тебя спит, — дразнил агроном возницу.

— Не кормленная, — отвечал тот, не поворачивая лица.

Лошадь тяжело дышала и слышно было, как что-то ворочалось у нее в груди. Поно-

шенная сбруя с поблекшими украшениями сползла на брюхо, бока безобразно выдавались из худого тела, шея вытянулась и все ребра были видны.

— Что же нам делать! — продолжал агроном не унимаясь. — Ждать здесь засухи, или самим впрягаться в телегу? Где ты подобрал такую калеку?

— Она не кормленная, — повторил мужик, и для виду стал пугать лошадь кнутом. Лошадь напряглась, вытащила нас из лужи, и опять стала.

Тогда мужик рассерчал — он рванул вожжи и заиграл кнутом. Удары кнута ложились рубцами на больном теле и животное нервно вздрагивало.

— Ты её не кнутом, а лаской... — посоветовал агроном, добрея при виде страданий животного.

Но возницей уже овладел азарт, и страстно прикрикивая и присвистывая, он хлестал кобылу по тем местам, где было ей всего больнее. Она рвалась из оглобель, некрасиво взбрасывая задние ноги. Наконец, после больших усилий ей удалось сдвинуть телегу с места, и она неловко побежала, задыхаясь. Но очень скоро ноги её снова подкосились, и рывая на себе сбрую она тяжело упала в жидкую дорожную грязь. Агроном бросился тянуть её за хвост с такой силой, точно намеревался вырвать его из живого тела, а в это время мужик бил кобылу кнутом по морде и под брюхо, и рвал удилами посиневшую губу. Лошадь стонала. Она смотрела на нас смущенно и виновато, как смотрит провинивший-

ся работник на своего хозяина. В её умных и покорных глазах не было ни упрека, ни жалобы, ни просьбы, а только смущение, какое испытывают всегда слабые перед сильными. Она хотела подняться и побежать, чтобы выполнить свою последнюю службу, и опять упала.

— Сдыхает, бедняга . . . — произнес агроном, и отпустил хвост.

Лошадь металась. Она силилась поднять морду с мокрой земли, но, в это время, бледные десны ее открылись и из ноздрей вырвалась белая пена окрашенная кровью.

Возница вдруг заволновался; он бросил кнут и стал освобождать лошадь от оглобель и упряжи. По его неловким движениям было видно, что он чего-то боится. Он суетился напрасно, потому что забота его уже не была нужна издыхающей кобыле. И чем больше начинал понимать он свое бессилие, тем больше росла его тревога, и ему стало страшно.

— Мне за неё отвечать! — закричал он странным, точно не своим голосом, и оторопел. Напуганный этой мыслью он всё ещё боялся потерять надежду спасти лошадь, и снова взялся за кнут.

— Что ты делаешь! — закричал на него агроном. — Ведь она мертвая!

Но он не хотел поверить этому, не хотел привыкнуть к этой опасной мысли, не хотел признать, что всё кончено, и ещё с большей силой принялся стегать кнутом уже мертвую кобылу.

Кругом нас собирались сумерки, земля чернела, и запоздавшие птицы торопливо ис-



кали свою потерянную ветку. А нам некуда было деться на ночь. Сиротливо и неподвижно стояла среди дороги телега с опущенными оглоблями, никому ненужная. Нас выручила тогда встречная подвода, которая доставила нас в ближайшее село.

## II

Высадившись у сельсовета мы увидели на голом дворе молодую девку, которая скакнула через весь двор босыми ногами, и мигом воротилась к нам.

— Кого вам надо? — сказала девка, утирая пальцами нос. — Председателя? Он наверно с картошкой занят, у нас посевная картошка погорела в яме. Я схожу за ним... — и исчезла.

Скоро пришел сторож в тулупе, поставил на скамью чадящую лампу и ничего не сказав, скрылся. Потом несмело вошел в избу мужик с длинной шеей, длинными руками и в длинной, не по росту, рубахе.

— Мы к вам по пути, у нас на дороге лошадь пала, — сказал агроном, приняв мужика за председателя.

— Это ничего, — ответил мужик сдержанно, — теперь много коней подыхает...

— Ты нас накорми чем есть, мы со вчерашнего дня голодные, — сказал агроном.

— Это ничего, — снова повторил мужик одержанно, видимо ничем не интересуюсь, — теперь много голодных повсюду, а сытых мало...

— Чего ты притворяешься! — возмутился агроном, и стал упрекать мужика за плохое



обращение. В это время дверь шумно отворилась и в комнату ворвался энергичный человек в кепке, похожий на рабочего от станка. Он накричал на мужика и стал гнать его из избы плохими словами.

— Я к вам за картошкой . . . — робко произнес мужик.

— За какой картошкой?

— За гнилой картошкой, которая в яме погорела . . .

Председатель посмотрел на нас и смутился.

— Она ведь все равно погорела, — продолжал тем временем мужик, — ее все равно сажать нельзя, а для мужика она корм. Распорядись, чтоб картошку ту не давали скотине, а мужикам. Бабы за нее дерутся . . .

— Вот видите, — обратился к нам председатель, — здесь у нас такое несчастье произошло с посевной картошкой, задохлась в яме, а этот дурак радуется.

Он с трудом прогнал мужика, и стараясь быть никем не услышанным, упрашивал нас не задерживаться долго в селе, потому что если нас убьют, то ему придется отвечать.

### III

Утром нас увезли в Смелу на сахарный завод. Мужики нам завидовали, точно мы ехали на курорт. Там люди жили сытнее и удобнее, получали хорошие пайки, в выходные дни мылись мылом в общественной бане, стариков и детей брили на голо, чтобы не вшивели, и клопов там тоже было меньше.

Нас встретил помощник директора, беспартийный специалист по сахароварению. Прежде работал он на заводе мастером, потом стал хозяином, приобрел семью и сбережения. Большевики сбережения забрали, семью оставили и велели ему работать на заводе за жалование. Был он человеком полезным и нужным, и его терпели, хотя к социализму он не высказывал пристрастия. Судя по его привычкам к сытной еде и семейной жизни, он не был сторонником социализма в одной стране, тем более во многих странах.

— Да, это очень печально, очень печально... — повторял он без всякого чувства, выслушивая наш рассказ про сдохшую кобылу.

— Что лошадь! — продолжал он, провожая нас к себе домой. — На селе теперь и живых мужиков мало осталось. К нам пригоняют теперь на время сева из города счетоводов и машинисток... Жалко смотреть, как они обращаются с землей.

Он привел нас в столовую, где на видном месте стоял под скатертью большой стол и много лишних стульев, тяжелый буфет подпирал стену, граммофонный столик с раскрытыми крыльями для пластинок теснился в темном углу, а для человека не было здесь места.

Вы садитесь к столу, я вас хорошо накормлю, — сказал он весело, и пошел звать жену и дочь. Но очень скоро он вернулся сконфуженный.

— Напрасно я им сказал о вас. Теперь наверно все зеркала перебьют пока оденутся. Они ведь тоже несчастные — всегда со скотиной, а человека не видят.

Но не успел он сказать всего, что хотел, как в комнату вошла женщина, не старая еще, но уже померкшая, принуждавшая себя смеяться. И эта гримаса делала некрасивым ее красивое лицо. Она видимо горела нетерпением скорее рассказать нам о самой себе как можно больше, выставляя себя с выгодной стороны.

— Как приятно встретить интеллигентных людей, — говорила она упавшим голосом. Я раньше тоже была интеллигентная и все принимали меня за дворянку, а теперь меня все принимают за доярку... — и она с усилием засмеялась.

— Вы не подумайте, что я отсталый человек с предрассудками; у меня дочь комсомолка. Но я все же не могу понять, почему теперь нигде нельзя услышать хорошего слова. Поверьте мне, я скучаю не по людям, а по хорошим словам. Откуда берется у людей столько сквернословия и ругательства, и как это носят они такую грязную тяжесть у себя на сердце! Точно плохие слова лучше, чем хорошие...

Она, повидимому, находилась под свежим впечатлением и мучилась обидой.

— Вот моя дочь не похожа на меня — ей все равно. Ее, например, обижает нежность и ласка. «Какие вы мещане!», возмущается она, когда я хочу ее приласкать.

— Что ты на меня доносишь! — запротестовала девица входя в столовую. Рыжие волосы на ней горели, высоко приподнятая грудь тяжело перемещалась при каждом движении. Это была здоровая девица, полная не-

израсходованных еще сил и желаний. Она имела привычку прищуривать свои светлые глаза, как будто присматриваясь к чему-то и, в тоже время, не прекращала говорить:

— Одни родители относятся к своим маленьким детям, как к большим, а другие — к большим, как к маленьким. Мои родители всё ещё относятся ко мне, как к маленькой, а мне это противно. Я всегда на активной работе среди рабочих и мужиков, и привыкла ко всему. Я давно заметила, что чем обходительней человек и осторожней в выборе слов, тем он хитрей и подлей . . .

Все примолкли, никто не решался возражать. Наконец принесли тарелки, хлеб и кипящий борщ в большом котле. Хозяин дома осторожно протягивает к каждому горло бутылки и сам быстро пьянеет.

— Вот видите, — говорит он едва слышно, боязливо оглядываясь, чтобы не услышала дочь. — Кормят нас хорошо, а душа неспокойна. Живем мы здесь, как под арестом и никто меня за человека не считает. Даже моя собственная дочь! Но, все же, хорошо, что она в комсомоле и, к тому же, не дурна собой . . .

Он нерешительно посмотрел на нее с любовью, и продолжал:

— Сам директор проходу ей не дает. Я не против, пускай женится, может быть тогда и мне будет спокойнее. Я его страшно боюсь. Боже, как я его боюсь! Это не человек, а злодей, он похож на дьявола. Но . . . пускай женится!



На другой день мы отправились посмотреть свекловичные плантации, где уже прошел трактор. По нетронутой плугом меже далеко бежала зеленая полоса только-что родившейся травы; она была хорошо видна на черном поле. В разных местах возились у грядок группы живописных женщин с лопатами в руках. Их было много; одетые по разному, но все босые, они ловко разгребали лопатами грядки, а другие шли следом и бросали в раскрытую землю семена. Кто-то худой в солдатском картузе и в низких сапогах ходил за ними и считал грядки. К полудню он уже знал, кого привлечь за невыполненную норму. Он лениво ходил между бабами, подгоняя каждую бранным словом. Увидев нас, человек в картузе заволновался и стал показывать усердие: он перегонял задние колонны наперед, производя беспорядок, и за это ругал женщин.

— Дружнее! . . . — кричал он во все горло, чтобы мы его слышали, и принуждал их петь песни. Женщины уныло затянули знакомый мотив с новыми словами, но все по разному.

— Дружнее! — кричал человек в картузе, и сам хрипло запел для примера, выставляя на вид свой подвижной кадык. Девки засмеялись, но скоро вошли в строй и голоса всех разом слились в одну тонкую и быструю струю, которая исчезала и опять возникала, и падала где то близко, разбиваясь брызгами о землю. И тогда слышнее становились отдельные слова, чужие всем и неправдоподобные.

Но они пели не слушая эти выдуманнные слова, увлекаясь музыкой своих голосов, прозрачных и чистых, как вода в колодце.

— Хорошо поют! — сказал подоспевший к нам помощник директора.

— В городе таких концертов не услышите... — и хотел рассказать больше, но в это время что то случилось: женщины бросали лопаты и спешили к кому то на помощь.

— Чего они? — спросил я с недоумением.

— Не донесла, несчастная... — произнес с огорчением помощник директора. — Это часто у нас с бабами в рабочее время. Как только сев или уборка, все они с брюхом ходят.

Между тем, собравшиеся возле роженицы женщины волновались и упрашивали бригадира свести больную в больницу на тракторе. Другие советовали привезти доктора в поле, и просили бригадира выписать из колхозного амбара солому, чтобы не рожать ей на голой земле.

— Что вы мелете, дуры! — закричал на женщин человек в картузе, и обозлился.

— Трактор ведь не колхозный, а МТС, и он за свою выработку тоже отвечает. А солома теперь не наша, и она есть фуражный корм, ее без ордера не отпустят.

Пока здесь спорили и ругались, роженица валялась на земле раскрытая. Какая то старуха на кривых ногах и с вывернутыми руками подкладывала под больную свою споднюю юбку и велела ей кричать сильнее, чтобы вылезть плод, а сама села ждать.

— Так нельзя, — сказал помощник директора, отзывая в сторону бригадира. — Это просто срам смотреть, как женщина рожает на виду у всех. Человек не скотина, надо ее свезти в помещение.

— Вы не беспокойтесь, бабы у нас крепкие, они все стерпят . . . — возражал бригадир, и стал жаловаться на плохую работу и частые простои, и что нельзя в рабочее время позволять бабам рожать детей.

— Всему свое время, — рассуждал он спокойно, не притворяясь.

— Я не против того, чтобы бабы рожали — пускай рожают, только не в рабочее время. А то ведь они этим посевной план срывают. Они бездельничать всегда рады. Смотрите, сколько теперь пропало времени даром. Одна рожает, а вся работа стоит, — и вспохватившись, он бросил нас, и быстро шагая через грядки, пошел разгонять женщин по местам.

— Становитесь в колонну! — командовал он на другом конце поля.

— Я вас, сукины дети, быстро! . .

Толпа поредела, и теперь роженица была отовсюду видна. Она не кричала. Прикрытая тряпками со следами свежей крови, женщина все так же неподвижно лежала на голой земле и из глаз ее, как из раны, сочились слезы; она плакала тихо, совсем беззвучно, мелкими выстрадаанными слезами, прижимая к груди мертвого ребенка.

## ГОЛОДНАЯ СМЕРТЬ

Жизнь меня баловала впечатлениями. Многие годы я не разлучался с крестьянской телегой, возившей меня по проселочным дорогам нашей большой страны, смущая народ. Напуганные, с дурными предчувствиями встречали меня повсюду крестьяне. Они знали, что корреспонденты советских газет никому не привозят счастья.

Сколько не старались тогда власти примирить деревню с городом, поворачивали нас «лицом к селу», принуждали к «смычке» — ничто не могло смягчить сердца крестьян, пострадавших от социализма. Трудно было полюбить им жителей города, приезжавших бригадами обирать деревню до последнего зерна. Неловко и стыдно было мне ходить среди колхозников под охраной сельского милиционера и слушать, как с наступлением темноты, в сельсовете начинали обсуждать, куда безопаснее поместить корреспондента на ночь. Точно жил я в чужой стране или завоеванной иностранцами. При каждой новой встрече с крестьянами чувство горькой обиды не давало мне покоя, и я искал случая вызвать к себе больше доверия у этих, всегда несчастных людей.

Маленький бритый мужичек, весь в заплатах, вез меня по плохой дороге в село Ске-



летово (на Мелитопольщине), превращенное большевиками в колхоз имени Октября. Всю дорогу я объяснял упрямому мужику, что еду я по делам службы, а не по своей доброй воле, что я журналист и никого не приговариваю к расстрелу, но он во всем сомневался и ничему не верил.

— Пойми же ты, наконец, упрямая голова, — говорил я с досадой, — ведь я на службе у государства, как и ты, как и твоя лошадь, как эта подвода, на которой мы сейчас сидим. Что мне прикажет партия и правительство, то я и делаю. Разве я для себя требую от вас сдавать по плану хлеб, мясо, молоко, яйца? . . . Разве ко мне в амбар вывозят из вашего села зерно, или я на твоих трудоднях богатею? Молока твоего я не пью, яиц даже в большие праздники не ем, а хлеб кушаю по норме. Чего же ты на меня косо смотришь, точно я кровопийца, или жену у тебя украл?

Он молчал, а сам чутко прислушивался к моим словам; он все еще не знал, верить мне или не верить. Во всем ему мерещился обман, а живая душа искала сочувственного слова и отзывалась на него при всяком случае.

— Вот ты молчишь, — продолжал я, — а сам наверно, думаешь, что в городе всё же жить легче. Все теперь бегут из села в город, как будто в другую страну.

— Бегут! . . . — подтвердил он не сразу и задумался. Мысль его была где-то далеко — не то на скотном дворе среди чужой худобы, отощавшей за зиму настолько, что добрый хозяин давно бы перевел ее на мясо и кожу; не то вспомнил он самого себя, свою батрацкую

жизнь, непосильные нормы и голодный паек, каким кормят одних лишь арестантов, сравнил себя со скотиной и стало ему себя жалко. Бог знает, о чем думал мужик, никогда еще сытно не евший хлеба, не сменявший штанов уже много лет, и всегда носивший одну и ту же рубаху на голом теле.

— Сами видите, — произнес он погода не смело, — нужда на селе большая, потому и бегут... — и стал осторожно рассказывать про беспорядки и голод, от которого одинаково страдает скотина и человек; что никто теперь деньгам не рад, потому что нельзя теперь за деньги купить хлеба, и только в казенной водке нигде нет недостатка.

— Мужик голую водку жрет, а потом шалит ночью на больших дорогах... — и стал смущать меня рассказами об убийствах в ночное время.

— Плохое время выбрали мы для езды в этих местах... — повторял он с тревогой, и вдруг захихикал, забалагурил непонятное, точно леший.

Его тревога быстро передалась мне, и я перестал уже доверять придорожным деревьям, походившим на разбойников, и от каждого куста, притаившегося в темноте, ждал несчастья.

Подвода шла, как пьяная, спотыкаясь на кочках, и шумела не смазанная. До селения все еще было далеко.

— Куда сворачиваешь, дохлятина! — обратился мужик к лошади. Он не спеша переложил вожжи в правую руку и мягко ударил ими лошадь по всей спине. Но лошадь не слу-

шалась его и на самом деле сворачивала с прямой дороги. В это время послышался жалобный детский крик, не то впереди, не то позади нашей подводки — в темноте не всегда поймешь. Но чем дальше отъезжали мы, тем ближе слышался этот призывной голос ребенка, и очень скоро из темноты показалась девочка лет восьми, с распущенными волосами. Она не шла, а бежала босыми ногами, прямо на лошадь, как слепая.

— Чего тебе? — отозвался мужик на ее крик.

— Дяденька накорми... — простонала девочка, и я не заметил, как она уже валялась у моих ног.

— Чья ты? — спросил я смутившись, и стал осторожно поднимать ее с земли. Но она вырывалась из рук и ползала у моих ног, унижаясь, чтобы вызвать сострадание.

— Чья ты? — повторил я снова.

— Наших всех вывезли, а я осталась, — отвечала девочка, с трудом сдерживая слезы; она боялась плакать.

— Меня теперь отовсюду гонят, а я голодная и у меня все нутро болит... — и вдруг, как зверек, вскочила на ноги и повлекла меня в почерневшую от темноты траву. Здесь она быстро сбросила свое рваное платье и легла голая, привлекая меня к себе руками.

— Ложись дяденька... — просила она, — ложись... Тогда накормишь. Всех вас дяденек, знаю...

— Что ты делаешь! закричал я строго. — Встань! — и стал звать мужика, мирно разговаривавшего с кобылой. Пока он шел, смешно



и неловко переступая большими шагами через низкие кусты и едва видные канавки, я уже держал ее в руках, трепетавшую и совсем холодную. Временами девочка вскрикивала и скоро затихла, но не надолго.

— Помрет, несчастная . . . — сказал с уверенностью мужик, и пошел доставать со дна подводы рогожу, чтобы укрыть ее. При этих словах девочка вздрогнула и насторожилась — мысль о смерти поразила ее. Испуганными глазами она долго смотрела на меня, как-будто спрашивая: «правда ли это?», и просила защитить её от этого страшного рокового слова.

— Ничего, — говорил я как можно спокойнее, утешая умиравшего ребенка. — Уже скоро приедем мы на колхозный двор и накормим тебя досыта. Ты не беспокойся — не все люди злые. Много теперь голодных людей, но есть и сытые. У председателя обязательно хлеб есть. Мы у него попросим, он даст . . . А потом я отвезу тебя в город, там есть школы и детские дома, там много таких бездомных детей, как ты . . . — и долго еще я рассказывал ей сказку о городской жизни, о людях, которые живут под крышей, спят на постелях и пьют чай со сладкими леденцами.

— Дяденька, — спросила она робко, — а какие бывают леденцы — они холодные?

Совсем счастливая, она скоро заснула, прикрытая рогожей. Неожиданно подул холодный степной ветер. Он шел низом, крадучись; он забирался под кожу, срывал рогожу со спящего ребенка, и вырывал из штанов мужика заплатанную рубаху. Молчавшие до того деревья — заговорили, черные кусты зашевели-



лись, и по траве пронесся приятный шопот живых голосов.

«Это к дождю», подумал я и просил мужика гнать быстрее. Он хотел что-то ответить и вдруг странно затих, обернувшись и пристально всматриваясь в спящего ребенка.

— Тормози ее... — сказал он, наконец, опомнившись. — Не пускай ее спать... Голодные всегда во сне мрут.

Девочка неохотно пробуждалась, когда я громко будил ее, звал разными нежными именами. Она отстраняла меня своими слабыми руками и говорила жалобно:

Оставьте меня... у меня все кишки болят...

Быстро соскочив с подводы, мужик снял с себя веревку, засаленную и всю в узлах, на которой держались его штаны, и туго затянул ею больную под самые ребра. По его ловким движениям было видно, что он умеет обращаться с умирающими от голода; он уверял меня, что этим способом многих удалось ему спасти от верной смерти.

Боль стала быстро утихать и в глазах ребенка зажглась надежда. Она заговорила оживленно, как перед смертью, не отпуская от себя моей руки:

— Ты меня, дяденька, не прогоняй. Ты, дяденька, делай со мной все, что хочешь... Ты меня, дяденька, держи при себе вместо собаки... — и совсем слабая, опять погружалась в опасный сон.

\* \* \*

\*

Когда наша подвода загремела по твердой мостовой, пробираясь между редкими избами

без заборов с потухшими огнями, село уже спало.

Близкое присутствие людей, мирно спавших в душных и тесных избах за крепко закрытыми ставнями и дверями, внушало спокойное чувство.

Страшнее всего казалось мне в эту ночь одиночество. Хотелось скорее услышать человеческие голоса, дышать даже этим тяжелым запахом никогда не проветренных изб, и вместе со всеми спать вповалку на голом земляном полу.

Но никто не впускал нас внутрь, никто не отзывался на наш стук, и еще тяжелее испытывал я одиночество среди живых людей.

Мы остановились среди дороги.

— Куда везти? — спрашивает мужик, и сойдя с подводы, тайком сворачивает из газетного лоскутка цыгарку. Повернувшись спиной к ветру, он долго выбивает из кремня огонь, ловит самокруткой искру и обо всем забывает.

— Вези в контору колхоза, — говорю я, — надо скорее девченку накормить, она уже пухнет.

— Там теперь пусто . . . — отвечает он равнодушно, и глубоко затягивается вонючим дымом.

— Тогда вези к председателю домой.

— К нему тоже нельзя, рассерчает. Он молодую к себе взял и никого теперь не пускает...

— Вези! — говорю я решительно, и мужик неохотно влезает на старое место.

Опять загремела наша подвода по неровной дороге, опять побежали от нас закрытые на засов избы, и нигде ни души, даже собак не

слышно. Вот проезжаем мы старые заброшенные коровники без скотины; дальше видны новоотстроенные колхозные конюшни без лошадей; при конюшне пустой инкубатор, который ждет из города яиц на вывод. А вот и кооператив, в котором торгуют водкой, и где перед весенней посевной происходят между бабами кулачные бои за мануфактуру.

А девочка мучается. Она уже не просит хлеба, и обманчивые рассказы о городе больше не соблазняют ее. Она хочет жить, даже с этой болью в теле, всегда голодной, бродячей нищенкой — но только быть живой. И так же, как взрослые, она не умеет объяснить себе этого, ничем непреодолимого желания.

— Мне страшно... — повторяет она все чаще, когда подвода остановилась у чисто выбеленной избы с железной крышей. Рыжий пес, похожий на теленка, показал зубы и зашелся. В избе зашевелились, и мужской голос отозвался из глубины:

— Кого ночью черт носит!

— Впустите, — ответил за меня мужик, и оробел. — Я к вам корреспондента из центра привез.

Смирившись, председатель зажег ручной фонарь, отбросил с двери засов и позвал в избу.

Нас встретили молодые в нижнем белье из грубой домотканной материи. Деревянная некрашенная койка с раскрытой постелью стояла близко к столу и еще дышала человеком. На всех стенах висели для украшения плакаты с изображением веселых шахтеров под зем-

лей и улыбающейся старухи у раскаленной мартеновской печи.

Извинившись, я просил председателя накормить, чем есть, голодного ребенка, и как можно скорее, а сам засмотрелся на счастливые лица этих, не схожих между собой, молодых людей. Он был рыжий, слабый на вид и нескладный, а она — черноволосая, крепкая телом и полная сил. У него были не добрые глаза, зеленые и глубокие, а у нее — совсем черные, живые и привлекающие к себе.

Женщина встрепенулась, глядя на ребенка, лицо которого вздулось уже, как у утопленника, и пошла скорее кипятить воду.

Я сказал председателю в сердцах:

— Хорошие у вас здесь порядки — дети валяются на дороге, как щенки! Мы ее на дороге подобрали.

— За этим нехай сельсовет смотрит... — сказал он и отвернулся.

Скоро женщина принесла чайник с кипятком, потом вынула из сундука кусок несвежего хлеба с обгоревшей коркой и позвала к столу. При виде хлеба девочка замычала, как животное, и полезла на стол ногами.

— Тебе нельзя... — сказал председатель строго, — ты сперва кипятку попей, а не то помрешь... — и заслонил от нее хлеб рукой. Девочка странно преобразилась. Совсем хищная, не зная страха, она стала отнимать у него хлеб, царапая и кусая его руку, на которой проступала кровь. Она могла загрызть его, задушить своими слабыми пальцами, вырвать ногтями его глаза, как птица клювом.



— Дура! . . произнес он, озлобляясь, и махнул рукой.

Никто не решался подойти к ребенку, когда она, протянув ноги, сидела на полу, пугливо оглядываясь. Она крепко держит обеими руками этот черствый ломоть и жадно откусывает его большими кусками. Избыток радости делает ее веселой, и она трогательно смеется со слезами, как дурочка. Жизнь кажется ей прекрасной, заманчивой, радостной. Она уже больше не думает о смерти, не зная о том, что с каждым проглоченным куском она приближается к ней.

Умирала она тяжело, в страшных муках, катаясь по полу, призывая на помощь Бога.

---

## ОТКРОВЕННАЯ БЕСЕДА

Когда вздрогнул поезд и мимо окон закачались пьяные стрелки, пассажиры притихли и подобрели. Нельзя было поверить, что совсем недавно эти люди были готовы на самые отчаянные поступки, чтобы отвоевать лучшее место в вагоне, ругались непристойными словами, ненавидели друг друга и лезли в драку. Теперь же, каждое купэ напоминало счастливую семью; незнакомые люди угощали друг друга чаем и мирно беседовали, радуясь чужою радостью и огорчаясь чужим горем.

Мы ехали тогда прямым сообщением из Москвы в советский Туркестан, — из Европы в Азию, — а дальние путешествия, как известно, сближают людей. Я находился среди аспирантов восточного института, впервые отправлявшихся на Восток для практических занятий. Аспиранты кичились своею партийностью, своими заслугами и орденами, старались показать свое превосходство передо мной, отчего я часто чувствовал себя среди них чужим и незначительным человеком. Но хуже было еще, когда они просто не замечали меня, как вещь, которая давно вышла из употребления.

Но теперь всё переменилось — здесь все мы стали равными, как на чужбине. В то время мы проезжали уральские горы с последними

поселениями оренбургских казаков, и стали приближаться к киргизским степям. Всё здесь было мне знакомо: и люди, не умеющие прощать и сносить обиды; и небо, рождающее мечту; и солнце, которое можно ненавидеть. Мои спутники не скрывали своего враждебного чувства к этому азиатскому солнцу. Раздраженные жарой, они были особенно грубы, невоздержаны, пренебрежительны к туземцам, которые толпами набивались в вагоны на каждой маленькой остановке. Аспиранты уже больше не следят за собой, смотрят на киргизов свысока, и при всяком случае открыто оскорбляют их больное самолюбие, каким всегда страдают невежественные и отсталые люди.

Вот уже вторые сутки, как поезд ползет по киргизским степям, где не видно даже саксаула. Днем мы задыхаемся и умираем — кажется, что солнце проникает под кожу, и все мы точно жаримся на костре. Горячий песок бьет в стекла, стучит по крыше, и уже у каждого он на зубах. Партийные и беспартийные, орденами и без орденов, — все одинаково страдают от этого пылающего солнца на открытом, ничем не защищенном месте, от этого раскаленного песка, проникающего в вагон. Люди валяются на вагонных полках, как мертвые рыбы на песке, и затихают. Всегда крепкий здоровьем аспирант Лопатухин, хвалившийся своей крестьянской кровью, задиравший каждого грязным словом, жалобно вздыхает сейчас растянувшись на верхней полке, предсказывая себе скорую смерть.

— Почему нас погнали в Среднюю Азию в такое время? — обращался он к парторгу, ко-

торый лежал по соседству, не проявляя ни к кому былого интереса.

— Разве мы раскулаченные мужики, или гулящие девки?

Парторг молчал как утопленник; его сейчас ничто не огорчало, ничто не радовало.

В то время, на каждой остановке мы встречали бородатых земляков, завернутых в пестрые тряпки и просивших милостыню. Одни называли себя пензенскими, другие — саратовскими, многие были из украинских деревень, подлежавшие истреблению. При каждой встрече с ними у всех нас возникало родственное к ним чувство, — свои ведь, не чужие нам! — и это чувство кровного родства возвращало нас домой, в поле, к родным коровам, в избу, где бывает грязно, душно, темно, но всегда почему-то хорошо на сердце. Это они давали нам жизнь, кормили нас, оживляли землю, которую мы топчем, и с которой связывает нас общая судьба до последних дней. Это они сочиняли молитву Богу и с нею покорно жили и покорно умирали. Они научили нас любить всякую тварь земную, в каждом дереве искать жизнь вечную, и все любить . . .

— Почему мы здесь? — снова произнес Лопатухин, но другим голосом, как будто говоря не о себе, пристально всматриваясь в эти знакомые и близкие ему лица мужиков.

Тем временем кончался день. С наступлением темноты земля здесь быстро остывает, и холодное небо с зябкими звездами накрывает степь. Черная ночь поглощает все живое, и уже нельзя отличить землю от неба, сухой сак-



саул от мягкой травы, ссыльных мужиков от их вооруженного конвоя. В такое время оживают и пассажиры, и всем хочется поговорить. Каждый спешит рассказать что-то важное о самом себе, чтобы непременно оправдать себя и осудить другого, приписывая ему свои собственные ошибки, заблуждения, пороки. И как часто в нашем осуждении других мы слышим свой собственный приговор над самим собой.

Мы пили горячий чай из жестяных кружек, и всем было весело. Аспиранты придумывали что-нибудь смешное, вспоминая жалких мужиков с протянутыми руками, стараясь отвлечься от страшной правды, от своей ответственности перед ними. Чтобы посмеяться, парторг сказал насмешливо, обращаясь к Лопатухину:

— Признайся, крестьянский сын, плакала душа твоя, глядя на мужицкие бороды? Ха-ха-ха! . . . Каждый из них похож на патриарха, не правда ли? С такими бородами, их можно принять за наших праотцов, Авраама, скажем, или Якова . . .

— Не смейся! — строго сказал Лопатухин, давая понять, что не потерпит шуток, и как-то по-новому посмотрев на парторга, задумался. Что-то мешало ему говорить так, как он хотел бы сказать, и он медлил, не решаясь приступить к той откровенной беседе, в которой, повидимому, нуждалась его душа.

— Я тебе прямо скажу: плакать я не стану, но и смеяться тоже нечего. Да, нечего! — настойчиво повторил он, как будто требуя не возражать.

— Мужиков надо знать, разные бывают мужики . . . А я всякого знаю: дурака и умного, пьяного и трезвого, труженика и лентяя . . . Я их всех знаю, потому что с мужиками вырос и всему научился у них. Но, представьте себе, когда послали меня на село раскулачивать и ставить на каждом мужике клеймо, — одного от другого я не мог отличить, как в стаде овец. Я тогда честно сказал в партийном комитете: за ошибки не ручаюсь . . .

Он шумно потянул из кружки давно остывший чай, и опять задумался. Нищие мужики смутили его. Они напомнили ему отвратительные сцены, жестокие случаи, бессмысленные убийства и неоправданные страдания этих мирных жителей села, когда он грузил их в вагоны дальнего следования, направляющиеся в Туркестан, и ему стало стыдно. Это было для него новым чувством, оскорблявшим, по его понятиям достоинство коммуниста, и он старался скрыть его за грубыми словами, рассказывая о страшном, как о смешном.

— Мужикку доказываешь, — говорил он, теряя хладнокровие, — что партия и правительство решили ликвидировать кулаков, как класс, и что после этого всем будет лучше, а он не верит и требует суда. «Как же можно без суда ликвидировать!», — кричат дураки и бунтуют. Тогда я устраивал им суд на месте, не жалея патронов. Но был один случай, когда мужик совсем напрасно поплатился жизнью, из трусости, а может быть по глупости своей — не знаю. Когда я сгонял кулаков к станции, этот один уперся. Красная борода его размета-

лась, волосы всклокочены и машет руками, как помешанный.

«Не пойду, говорит, из своего дома, хоть убей! В сельсовете все знают, что отец мой батрак, и дед батрак, и сам я своим трудом в люди выбился...»

Я подумал тогда, что наверно в сельсовете проявили к нему снисхождение, потому он такой смелый и не страшно ему за самого себя заступиться.

— Послушай, говорю я, красная борода: ты разговоры разговаривай, а манатки свои скорее тащи на двор.

При этих словах мужик осунулся, оробел и некрасиво заплакал.

«Позволь, говорит, умереть мне в своем доме», — и повалился мне в ноги, как батрак перед помещиком.

— Вставай! — кричу я. — Ничего тебе не поможет! . . .

А он не слушает, и рассказывает про себя, про свою нужду в старости, и что теперь у него ничего нет. И, стыдно сказать, бросился старик целовать мои сапоги, как чужую девку. Я от этого еще больше озлился и без всякого дурного намерения приставил к самому его лицу дуло нагана. Он как-то странно выпучил глаза, посмотрел на меня снизу вверх, и без выстрела повалился навзничь. Я кричу ему:

— Эх ты, дурная голова! Вставай пока не поздно, и не притворяйся. Все равно, ничего тебе не поможет! . . .

А мужик не двигается и лежит спокойно. Я подумал: «Отчего он такой спокойный, вдруг? Может смирился?»

А ведь был он уже мертвым.

Все на минуту примолкли. Но в это время в разговор вмешался парторг.

— Чего же вы все скисли? — произнес он без всякого чувства. — Разве и после этого случая вы все еще не понимаете, что кулака можно пронять только смертью. Ведь партии без них лучше, — заключил он, и сразу перешел к грязному рассказу из своей личной жизни, который называл любовью. Он, возможно, хотел развлечь нас этим несвоевременным рассказом, чтобы отвлечь разговор от мертвого мужика, плохо повлиявшего на веселье. Но слова любви, которые произносил он насмешливо и грубо, придавая понятиям красоты и душевной чистоты безобразные и грязные свойства, никого не могли развлечь. Он долго и путанно объяснял нам, как детям, что такое правда вообще, и что такое партийная правда, и что коммунисту следует пользоваться только партийной правдой, отличной от общепринятой правды, которая не есть правда, и что с точки зрения диалектического материализма, общепринятой правды вообще не существует...

— То же самое надо сказать и в отношении любви, — уверял он, развязно рассказывая, что любить глупо и стыдно, и что всякие, как он выражался, «любовные штучки» происходят от безделья.

— Все это я узнал на самом себе, когда сам я, по легкомыслию, пользовался этими



устаревшими мещанскими словами и понятиями, выдумывая «тайну любви», в то время как между мужчиной и женщиной не может быть никакой тайны. Все ясно: жизнь людей, как и жизнь вещей одинаково подчинена диамату. Я теперь смеюсь над самим собой, когда вспоминаю о любви, которая завела меня в болото . . .

И он, на самом деле засмеялся тем мелким, удушливым, похотливым смехом, который вызывает брезгливое чувство у неиспорченных людей.

— Глядя на ее задумчивые глаза и небесную печаль, можно было сразу сказать, что она чужой породы. Но, должен признаться, это нисколько не повредило красоте ее плеч, груди и прочих частей ее женского тела.

И опять он нехорошо засмеялся.

— Я старался быть к ней ближе, а она от меня — дальше. Я говорил ей сладкие слова, а она мне — горькие. Я признавался ей в любви, а она мне в ненависти. И, странная вещь, я привязался к ней от этого еще больше, и уже не владел собой. Я стал худеть и глупеть. Я подслушивал ее разговоры, как будто они содержали для меня жизненный интерес. Я засматривал в ее письма, как будто в них заключалось тоже что-то чрезвычайно важное для меня. Я тайком ходил за нею следом по улицам и тратил непроизводительно всё своё время только на неё. И не достигнув цели, я тогда твёрдо решил, что так дальше продолжаться не может. Скоро случай помог мне говорить с ней наедине. Без лишних слов я сказал ей прямо:

— Почему ты избегаешь меня? Разве я не мужчина, а ты не женщина?

Она посмотрела на меня с отвращением и внезапно вскрикнула, точно от боли.

— Как ты противен мне! — закричала она, и хотела бежать. Но я не пустил её. Не считаясь с обидой, я продолжал настаивать на своём и потянулся к ней губами, как пестик тянется к тычинке.

— Ты сатана!.. Дьявол!.. Чорт!.. — закричала она с такой силой, что на улице стал собираться народ.

— Чорт, чорт, чорт!.. — кричала она со страхом в голосе, содрогаясь и вырываясь из моих рук, как будто я на самом деле был чортом. И вырвавшись, она всё ещё продолжала кричать:

— Как ты мне противен, гадок, тошен, вместе с твоим диаматом!

Он так живо передавал отчаяние этой незнакомой мне женщины, что я увидел её перед собой, услышал её голос, в котором было страшное по своей глубине разочарование, боль оскорбленной мечты и крик опустошенного сердца.

Все насторожились. Но в это время парторг заговорил о другом — его пугал рассвет, напомнивший о жарком солнце и знойном дне. Он как будто боялся не солнца, а солнечного света; это был тот, кто «возлюбил тьму». На его, всегда равнодушном, лице можно было увидеть выражение страха, когда он молча показывал рукой на восток, где уже занимался костер.

Небо пылало. Но я не видел неба. Передо мной всё ещё дрожали губы женщины, и где-то рядом жила её больная оскорбленная душа. Стараясь не показать волнения, я осторожно спросил нахала:

— Чем же всё это кончилось?

— Ничем... — ответил он небрежно, а потом прибавил:

— Я поместил красавицу в камеру предварительного заключения особого отдела НКВД.



## ЛЕТУНЫ

### 1

Город стоял на реке, мелководной и совсем ничтожной, но небольшие баржи, давно составившиеся, с полинявшей краской, с худыми окривевшими мачтами ходили вдоль и поперек реки, перевозя пассажиров за двадцать копеек. Задолго до рассвета у пароходной кассы собиралась большая толпа рабочих, большей частью женщин и подростков, заменивших теперь на всех работах мужчин. Они были одеты в мужские рабочие блузы и штаны, ругались и сквернословили по-мужскому, ходили развязной походкой, сплевывали сквозь зубы и сморкались в кулак, так что трудно было признать в них девушек, женщин, матерей.

Всех клонило еще ко сну и чтобы развлечься женщины перебрасывались от скуки плохими словами. Иногда слышался в ответ невеселый смех и грязная шутка, которая никого не смущала. Старухи были невоздержанней молодых, задевали друг друга сплетней, порочили молодых правдой и неправдой, и насладившись чужим срамом, унимались. Но не надолго. В разных местах пристани загорались, как костры, горячие, непримиримые



споры, которые не всегда удавалось затушить мирным путем. Но вот к берегу подходит баржа, и мелкие споры затихают сами собой. Смешавшись в одну черную, крикливую и безобразную толпу, в которой не видно уже отдельного человека, все бросаются к деревянному помосту, тесня и не узнавая друг друга. Все спешат, всеми руководит одна лишь мысль — не отстать от смены, не опоздать, точно в этом заключается вся судьба человека.

Тем временем, тяжелая от лишнего груза баржа с трудом отходит от опустевшего и безлюдного берега. На воде пассажиры успокаиваются и затихают. Река казалась черной от ночного неба, и звезд в ней не было видно. На палубе стоял тот смутный полумрак, когда люди кажутся тенями, бестелесными душами усопших. Голосов не слышно, и вода безшумно и мягко облизывает бока баржи, сворачиваясь и замирая у руля.

Скоро баржа подошла к берегу, вдоль которого лежал заводской поселок, и прозябшие пассажиры покорно и не торопясь стали сходить на землю, направляясь к заводским воротам, как к неизбежному злу.

## II

Никем незамеченные мы быстро отделились явшая из трех человек, быстро отделилась от толпы, сойдя на берег. Редакция направила нас на завод произвести облаву для поимки и разоблачения «злостных летунов», срывающих производственные планы. В то время еще не прикрепляли рабочих к предприятиям и по разному оплачивали труд в разных республиках и городах. Люди искали счастье и

находили его там, где были лучшие ставки и пайки. Нужда и голод гнали людей в киргизские степи, в туркестанские пески, в таджикские горы, как будто там, в этих степях, песках и горах не было советской власти. Они хотели верить обманчивым иллюзиям, как дети сказкам, что советский восток все еще отличается от советского запада, севера и юга.

Оставляли родные места без сожаления — жалеть было нечего. У каждого на душе лежало много обид, горечи и тяжелых разочарований. Радость была редкой гостьей в рабочей семье. В поисках лучшей оплаты, рабочие «перелетали» с места на место, из города в город, с одного завода на другой, как залетные птицы с ветки на ветку, от чего заводы и фабрики жаловались на «прорыв». Каждому новому рабочему, залетевшему по неведению в наши места, радовалась администрация завода как большой удаче. Такого прилетевшего «летуна» скрывали до поры до времени, пока был он нужен.

Мы шли поникшими, как новобранцы. Пустые улицы заводского поселка не везде освещались, и местами приходилось пробираться на ощупь. Тощие волкодавы выходили из подворотен и далеко сопровождали нас, выпрашивая больными глазами подачку. Было мучительно тоскливо и от того пусто на душе.

Нас было трое. Своей нетерпеливостью и раздражительностью заметно выделялся в нашей группе студент из КИЖ'а, присланный в редакцию для практических занятий. Он был

немолодым, но ростом и тщедушным телом напоминал подростка, и производил впечатление усталого, вялого и непригодного ни к чему. Мелкие черты его лица не запоминались. По-видимому раздражительность мешала ему понимать людей, а партийная служба делала его высокомерным и равнодушным ко всем, и трудно было поверить, что у этого человека есть душа. Но совсем другим характером отличался сопровождавший нас фоторепортер местной газеты — подвижной, легкомысленный и жадный ко всему. Он имел особое пристрастие к каламбуру, к шутке, которая не смешила, но в то же время располагала к себе людей. С ним было легко и временами весело . . .

У заводских ворот привратник остановил нас.

— Куда вам? — спросил привратник.

Мы просили пропустить нас сперва в завком, на что привратник таинственно улыбнулся в ответ, и ничего не сказал.

— Что же ты молчишь? — возмутился студент, и обозвал его чурбаном.

— Чурбан ты, а не человек . . .

— Вы напрасно ругаетесь, — произнес привратник, и неохотно продолжал. — В такое время в завкоме никого нет, а если вам самого председателя надо, так его вообще нет. Он не то что ночью, но и днем теперь не бывает. Пропал человек . . .

— Где же он? — живо заинтересовался репортер, искавший случая пошутить и чем-нибудь развлечься. — Надеюсь, он не помер . . .

— Кто его знает, — ответил равнодушно привратник, — когда кого с нами нет, так для нас он все равно, что помер. Уже больше недели, как его ищут, а найти не могут. Пропал человек, — повторил он, и махнул рукой.

«Он непременно в летунах», — нашептывал мне по дороге студент, радуясь удаче.

### III

Проходя по тусклому заводскому двору, заваленному скелетами сеялок и косилок, я думал об этом царстве тьмы, поглотившем человека, где недобрые чувства радуют, а не огорчают, где нет любви, нет сострадания и жалости, и где, поистине, человек человеку — волк. И как бы в подтверждение этой сокрушавшей меня мысли, я услышал подле себя шипящий голос студента.

— Читай!.. Читай!.. — выкрикивал студент, забегаая наперед и делая лицом нехорошие гримасы.

— Читай! — продолжал он, подводя меня к огромной черной доске, висевшей на видном месте, как надгробье; она была вся исписана именами заклеяменных людей.

— Разве это люди! — кричал он, как помешанный; студент находился в том состоянии экстаза, при котором совершаются светлые подвиги, или темные преступления.

— Разве это люди! — не унимался он. — Их надо судить на площади, на открытом месте, чтобы всем было страшно. Это враги!..



Тем временем, приводные ремни шумели надо мной, как падающая с гор вода. Повсюду вздрагивали станки и стонало железо, когда острые резцы вбивались в твердое тело болванок, оставляя на нем незажитые рубцы. Грязно одетые в поношенные спецовки, рабочие стояли точно прикованные к станкам, поминутно ругаясь. В их лицах не было живых красок, и при желтом свете лампы они напоминали мертвецов. Только грязная ругань, раздававшаяся у каждого станка, как проклятие, возвращала к мысли, что они еще живы. Сквернословили здесь все, даже малые дети, и без всякой видимой нужды. Что-то грозное и страшное, похожее на мятеж, слышалось в этих бранных словах.

«Как все здесь несчастны!» — подумал я, когда мы шли вдоль стеклянной стены, тянувшейся во всю длину этого большого корпуса. Ночь делала ее черной и плотной, и казалось, что там, за нею уже ничего нет.

Мы проходили мимо груды железного хлама, напоминавшей свалочное место, в которой копошилась женщина. На ней была спецовка не по росту, в которой тонуло ее маленькое тело, а голова была повязана платком. Вытащив из под спуда тяжелый брус, покрытый ржавчиной, как болячкой, она обхватила его тонкими руками, наваливая главную тяжесть на грудь, и понесла к станку. Поровнявшись с нами, она отворачивается, но я успел увидеть ее лицо. Это не женщина, а девочка, ей может быть не больше тринадцати—четырнадцати лет.

«Почему она здесь?» — думаю я. — «Чья она и ради чего увядает среди этого ржавого железа, не успев созреть!».

Но я знаю, что жалеть здесь стыдно, меня высмеют здесь за такие чувства, и, чтобы скрыть их от людей, я вместе со всеми смеюсь, как дьявол над несчастным ребенком. Она, видимо, ко всему привыкла, но этот недоброжелательный смех порастил ее; она остановилась на минуту, посмотрела на нас открытым взглядом ребенка, как будто спрашивая: «что вам от меня надо?», и вдруг с ее детских губ сорвалась непристойная брань.

И опять всем весело, опять слышится отовсюду этот отвратительный похотливый смех, оскорбляющий совесть. На шум подоспел дежурный по цеху парторг.

— Оставьте ее, — говорил он уводя нас от скандала, — оставьте ее, а не то будет драка . . .

Он рассказывал о странном характере этой девченки, которая с малых лет ненавидит мужчин.

Недалеко стоял на дизеле высохший старик, совсем слабый, но видно с крепкой еще жилой, смотревший за мотором всю жизнь, изо дня в день. Его руки, лежавшие неподвижно на рычаге, точно приросли к железу, и время от времени он производил ими одинаковое движение, от чего казалось, что они являются составной частью этой большой машины. Однако, обернувшись на нас, старик показал много живости в лице; глаза его беспокойно бегали по всем предметам с преувеличенным интересом ко всему, и вдруг, его внимание ос-

тановилось на подмастерья, стоявшем без дела с напильником в руках.

— Эй, глупый человек! — закричал он скрипучим голосом, какой производит напильник по железу. — Чего стоишь без дела? Разве не знаешь, что тебя за простой повесят!

Молодой подмастерья, не привыкший еще к заводским порядкам, отбывая практику по наряду, стал прислушиваться к словам старика, который все знал и на всех покрикивал.

— Ты мастеру никогда не перечь, — говорил он торопясь и заметно волнуясь. — Мастер здесь всё, а ты — ничего. Он всё может... Он партийный, а ты что? Блоха, да и блоха тебя больше. Ты — прах, тля, ничто!... Вот кто ты!

Заметив наш интерес к его словам, он вошел в азарт и стал поучать подростка не щадя чести.

— Потому и запомни: ты один будешь всегда, во всем и перед всеми виноват. К этому надо привыкнуть с первых дней. Когда мастер обругает тебя, накричит, прибьет напильником — соглашайся, не вздумай самолюбия показать. Боже тебя упаси! Самолюбие здесь всему помеха. Напротив, если когда обругает, скажи покорно: спасибо, мол, вам товарищ начальник, что обругали. Мне каждое ваше матерное слово на пользу. Вы со мной построже, покруче...

Голос старика срывался, и удушливый кашель мешал ему говорить. Теперь он уже и не скрывал своего намерения раскрыть перед нами произвол заводского партийного началь-

ства, свое унижение и обиду, ища защиту, или простого сочувствия в нашем лице. Задыхаясь и поминутно откашливаясь, он продолжал:

— Если когда мастер разгорячится и по балде ударит — стерпи, хотя правила такого нет, чтоб рукам волю давать. Но после того, как прибьет, он всегда добрее. Бойтсся, значит! Другой раз так допечет, что сам я со слезами прошу его: «Побейте меня, товарищ начальник! Бейте! Что вы на меня, дурака смотрите? Или смелости у вас мало? Бейте, прошу вас!» А уж ежели ударит, то непременно смягчится...

Растроганный своим смирением, старик обмяк вдруг, привлек к себе напуганного подмастерью, посмотрел на него с любовью и сказал, как отец сыну:

— Я тебя парень за то пожалел, что ты глупый, что ты все еще себя человеком считаешь...

#### IV

— Вы его не слушайте, — говорил парт-орг, ходивший за нами, как нянька за малы-ми детьми. — Старик не в своем уме, от него всегда смута и беспорядки в цеху.

Он привел нас в заводской клуб, где не было людей, смущавших нас на каждом шагу. Все стены этой длинной и узкой комнаты с рыжими подтеками на потолке, были покрыты свежее-выкрашенными лозунгами и плакатами, точно обоями, и остро нахло малярной краской и скипидаром. По земле ползал чума-зый мальчуган с малярной кистью в руках.



Он скакал от одной буквы к другой, на манер лягушки, и плотная бумага шевелилась под ним, как живая.

— Что ты делаешь здесь в такое раннее время? — поинтересовался я.

Мальчуган оторвался на минуту от работы, приподнял обезьяньи руки и пропищал, как мышь:

— У нас лозунгов нехватает для борьбы с летунами, а я по культурной части, так меня за это срочно мобилизовали и велели работать по ночам... — сказавши это, он снова поскакал по буквам.

— А много летунов принято у вас против закона? — обратился студент к парторгу.

Парторг не мог как следует понять чего нам надо. Этот бездельник явно тяготился нашим присутствием. Он был готов объявить «летуном» каждого рабочего, только бы скорее выпроводить нас за ворота, снять намявшие его ноги сапоги, растянуться на койке и задать храпу.

— Хорошо, хорошо... говорил он устало, с полным безразличием ко всему. — Вот вам список ново-принятых. Кто из них «летун» — сам чорт не знает. Называйте их «летунами», если вам так надо, а мне все равно. Мы всякого принимаем, если только он с каторги не бежал. Нам рабочие по зарез нужны...

Пока он говорил, фоторепортер, не теряя времени, оперировал в цеху, снимая какого-то рабочего.

— Прошу вас, не шевелитесь, — любезно говорил фоторепортер, наводя аппарат на выбранную жертву. И, щелкнув собачкой, он веж-

ливо благодарил пострадавшего рабочего. Давно небритый, одетый в засаленный шевиотовый пиджачек, которому сто лет, в очках овальной формы с жестяной оправой, этот рабочий, на самом деле, производил впечатление новичка — он всего боялся.

— У меня семья, — говорил он, весьма встревоженный. — Я ради семьи, ради детишек лучшего места искал. У меня их трое. Они меня всегда у окошка выглядывают. Они малые, несмышленные, всегда кушать просят. Не губите напрасно . . .

Но его никто не слушал. Я видел, что радость, похожая на безумие, опьяняла сопровождавших меня людей. Чему радовались они?

Через стеклянные стены завода уже было видно мутное небо с гаснущими на нем звездами. Видней становилась и безлюдная улица, появлялись злые дворники с метлой, и поднятая ими пыль неслась на нас. Кое-где выбегали из калиток едва одетые полусонные женщины, снимая с наружных ставень засов. Для всех начинался трудовой день.

---

## ДОЧЬ РЕВОЛЮЦИИ

### I

Аня не отличалась красотой. Небольшого роста с птичьим лицом, которое прикрывала она несоразмерно большими очками, небрежно одетая и подстриженная мужичком, она ступала широкими шагами матроса, никого вокруг себя не замечая. Может быть чувство ревности и обиды мешало ей сблизиться с людьми и вызывало в ней несправедливую вражду к красивым женщинам, которых называла она «дурнушками», считая, что они неспособны к умственному труду. Но в то же время, она была необычайно добра к людям, страдавшим какими-нибудь пороками, умела приласкать неизлечимого пропойцу, больных, убогих, калек, находила и навещала гулящих девок, прятала их у себя, когда им угрожала опасность высылки, и горько жаловалась, что ее жалования не хватает чтобы хоть сколько-нибудь облегчить участь этих несчастных людей. Можно было подумать, что она принадлежала к Армии Спасения, а не к партии большевиков.

Аня жила порывами, и ее увлечения быстро менялись холодным чувством, а любовь — ненавистью. Временами казалось, что характер этой тридцатилетней женщины еще не оп-

ределился. О замужестве она отзывалась с презрением, называя брак крепостным правом, и уверяла своих друзей, что замуж вышла из любопытства. Но очень скоро, она оставила мужа не узнавши радости и не дав ее ему. Аня не любила вспоминать свое детство, проведенное в железно-дорожной будке стрелочника-отца, когда босая бегала для него по снегу в кабак за водкой. Это всё, что знали люди о ее прошлом. Каждому, кто хотел узнать больше о ее родителях, она отвечала с гордостью:

— Меня родила советская власть. Я дочь революции . . .

Между тем, это была мятущаяся душа, живая и неудовлетворенная, отравленная партийной средой с ее ограниченными интересами, извращенными понятиями и испорченными вкусами. И когда разгорелась внутрипартийная борьба — Аня оживилась. Это было время ее надежд.

## II

В те тревожные дни, когда в каждом доме недосчитывали кого-нибудь из близких или друзей, когда люди бесследно исчезали на улицах, и по ночам врываются в жилые дома вооруженные люди с обысками и облавами; когда дурные предчувствия волновали каждого обывателя, и повсюду, где только живет человек, можно было слышать об арестах, ссылках и расстрелах — в эти опасные для жизни каждого советского гражданина дни, Аня торжествовала. Никогда еще она не была



так весела, так снисходительна к людям, так расточительна в своей любви ко всем. Точно все лучшие свойства ее души, разом вышли наружу, как весенняя вода из берегов. Но очень скоро Аня внезапно исчезла, не стало ее, как будто никогда ее и не было среди нас, и тогда не находилось достаточно смелого человека, который решился бы навести о ней справку. Прошло много времени, но никто в точности не знал, жива ли она еще или уже мертва. Ее начинали забывать, и только оставшаяся сиротой у чужих людей ее трехлетняя дочь Ляля, время от времени напоминала о ней. Девочка всем жаловалась на злых людей, укравших у нее маму, и тогда ничем нельзя было ее утешить; я все еще вижу, как дрожат злезы в ее круглых глазах.

С тех пор прошло более двух лет. Никому не приходило в голову, что Аня еще жива, и говорили о ней всегда, как о покойнице. Крошка Ляля тоже привыкла уже к этой внушенной ей мысли и стала забывать свою «украденную большевиками» мать. Окруженная заботой и любовью, она навсегда привязалась к чужой женщине, не замечая больше потери, что было печальным свидетельством непрочности любви детей. Повидимому бурные чувства, как и дурные болезни передаются по наследству.

### III

Это было в ту пору весны, когда остатки почерневшего на дорогах снега смывает дождь, и земля покрывается паром, как живым дыханием. Было приятно сидеть впервые

при открытых окнах в тесной комнате моей сестры, которая угощала меня чаем с леденцами, оживляя в памяти трогательные привычки нашей разрушенной семьи. Было как-то особенно тихо и хорошо нам вместе, и мы не заметили, как отворилась дверь и в комнату неслышно вошла Аня, напоминая привидение. Постаревшая и почерневшая от солнца, с грязным узелком в руках, она была похожа на нищенку. Ее лицо выражало мучительное страдание человека, потерявшего последнюю надежду. Она бросила узелок у двери, присела к столу, не отвечая на приветствия, и тихо заплакала, раздавленная горем.

— Оставьте меня, — говорила она, когда мы спешили прийти ей на помощь.

— Оставьте, — повторила она, — все равно я этого не переживу...

Я понял, что Аню ничем нельзя теперь утешить. Она потеряла что-то самое для неё главное, ради чего вернулась из ссылки ценою непосильного унижения, может быть предательства, пожертвовав всем, что составляло цель ее жизни, чтобы только снова соединиться со своим разлученным ребенком. Но девочка не признала в ней своей матери. Может быть новые чувства вытеснили из сердца ребенка воспоминания о прежней жизни, может быть и вовсе не помнила она своего прошлого, или не могла поверить, что мертвые оживают. Но мать стала ей чужой, каким-то препятствием в ее радостной, веселой жизни, и она жалобно просила заступиться за нее, когда Аня пыталась приласкать ребенка, прижать его к своей груди.

С этого времени Аня искала случая умереть. За ней следили, но она ускользнула от наблюдения, и притаившись в кладовой, набросила на себя петлю. Когда на шум, послышавшийся из кладовой, мы подоспели к самоубийце, ее маленькое тело вырывалось из петли, билось и вздрагивало в предсмертных судорогах, как подрезанная у горла птица.

Аню удалось спасти, но это не принесло ей счастья. Больная, с опустошенным сердцем, в котором больше не было желаний, она жаловалась на людей:

— Вы ошибаетесь, если допускаете мысль, что я благодарна вам за свое спасение. Зачем вы вмешиваетесь в мою жизнь? Я не верю больше, что люди способны к состраданию. Когда я жадно хотела жить, мне каждый день угрожали смертью. А теперь, когда я хочу умереть — меня заставляют жить.

Не находя слов для утешения, я повторял давно известные и ненужные слова, уверяя ее, что умереть никогда не поздно, что самоубийство ни у кого не вызывает сочувствия и не имеет никакого оправдания, тем более для нее, никогда не жившей для себя, а только для других, и прочее.

— Это все пустые слова, — прервала меня Аня, приходя в волнение. — Можно ли говорить об общественных интересах, о любви к человечеству, находясь за решеткой! Если бы вы знали, каким страданиям подвергают нас следователи на допросах! — и она закрыла лицо руками.

— Этим тупым людям не так нужна наша жизнь, как им нужна наша честь...

— Разве весь мир принадлежит этим тупым людям? — возразил ей я. — Поверьте мне, ещё можно найти на земле такие места, где есть закон и право.

При этих словах, Аня необычайно оживилась; она привстала на постели и глаза ее загорелись вдруг.

— Я хочу вас лучше понять, не скрывайте от меня...

— Зачем вы допрашиваете меня, когда всё отлично поняли?

— Доверьтесь мне, — говорила она все более возбужденно, как в бреду, — я все равно скоро умру, но я хочу, чтобы вы спаслись. Скажите откровенно, не бойтесь, успокойте меня в мой предсмертный час. Я знаю, вы искали для меня слова утешения, но таких слов нет. А вот сейчас, само утешение пришло ко мне. Утешьте меня, подтвердите словами, что вы решили бежать из этого крошечного ада, из этого царства тьмы...

— Молчите! — вскрикнул я, испугавшись этих опасных слов, которых никогда не решался произнести вслух. — Я вам ничего не говорил об этом.

Но она не слушала меня, увлекаясь и пьянея этой новой мыслью.

— Бегите! — шептала она воспаленными губами. — Какая счастливая мысль! Ведь это подвиг! Поймите, что честному человеку здесь делать больше нечего. Мы разлагаемся!

#### IV

Ночью, когда в общежитии утихала жизнь, я уединялся за работой в своей квадратной



комнате, напоминавшей шкатулку. В открытое окно проникало черное неподвижное небо, в воздухе было душно, не шевелились листья деревьев, как будто вокруг меня остановилась жизнь. Сонливое чувство неслышно подкрадывалось ко мне, и я повидимому легко поддался этому трудно преодолимому соблазну; я спал тревожно, с поникшей головой, как пассажир в вагоне. Вдруг, чья-то «заботливая» рука встряхнула меня за плечо. Я не испытал удовольствия от этого прикосновения, тем более, когда проснувшись увидел перед собой хорошо вооруженного человека в «прославленной» форме НКВД. Мне казалось, что я все еще сплю и хотелось скорее проснуться от этого страшного сновидения. Но все оказалось наоборот.

— Следуйте за мной, — сказала форма, заикаясь и давясь словами, точно костью.

Я увидел себя на яву, и покорно поплелся за ним, как овца, припоминая в это время все, «в чем был и не был виноват» перед советской властью. Тем временем, человек в форме привел меня в комнату сестры, где было много других в такой же форме, удивительно похожих друг на друга людей. У двери стоял неподвижно часовой, а среди комнаты, точно на пляже я увидел в ночном белье Аню и мою сестру. Мебель была сдвинута, шкафы раскрыты, постель сброшена с кроватей на пол, и мне представилось, что нас грабят, и следует звать на помощь.

— Вам полагается сидеть и молчать, — сказал обращаясь ко мне заика, и указал на стул. Я обратил внимание на его мясистое, откормленное лицо, на котором не было видно

ни ресниц, ни бровей, никакой растительности. Неподвижные синие глаза казались нарисованными и имели поразительное сходство с плакатом.

Пока другие производили обыск, заика призывал Аню к благоразумию. Он советовал ей отказаться от безумных мыслей свергнуть советскую власть, и убеждал ее помочь работе следственных органов, ничего не скрывая от них, как от самой себя, и что сейчас она сама может решить свою судьбу.

— Что же вы молчите? — спросил он, не сводя с нее своих нарисованных глаз.

Аня стояла неподвижно с плотно закрытыми губами, как оловянная фигурка на столе: ее можно было передвинуть или опрокинуть, но нельзя было заставить ее заговорить.

— Вы напрасно упираетесь, — сказал заика, давясь словами. — Нам все известно. Нам известны не только нелегальные бумаги, которые храните вы в своем портфеле, но и все ваши нелегальные мысли, которые вы храните в своей голове.

Аня молчала.

Тогда он обернулся к двери и внезапно преобразился.

— Стрелок! — закричал он другим голосом. — Заставь заговорить эту дрянь!

Я не успел заметить, как Аня рванулась к открытому окну, пытаюсь броситься вниз, но сильным ударом приклада стрелок отбросил ее от окна в мою сторону; она повалилась на пол, и застонала. Мне стало страшно от мысли, что я не могу защитить ее, что я должен «сидеть и молчать», когда на моих глазах со-

вершается преступление. Я должен смотреть безучастно, как сильные бьют слабого, и как замкнутые гордостью губы женщины обливаются кровью.

Я старался не видеть, как солдаты одевали ее в поношенное синее платье, точно покойника перед погребением; как натягивали ей на ноги чулки и, взвалив ее на плечи, на манер убитого зверя, унесли навсегда из дому.

---

## ВСТРЕЧА С ПУСТЫНЕЙ

Лето было в самом разгаре, когда я приехал в Ашхабад. С походной сумкой за плечами, я шел по этому воспаленному городу, построенному на песке и окруженному песками Кара-Кума. На юге подымались до небес отроги Копет-Дага, заслонявшие собой персидскую границу. Как каждому советскому жителю, мне было приятно и тревожно находиться в такой непосредственной близости с чужой страной, о которой я знал тогда не больше, чем о загробной жизни.

Я поселился в доме для приезжих, где на большой веранде, ничем не защищенной от солнца, комаров и ночных воров, были расставлены рядами голые железные койки, нагревавшиеся за день настолько, что за ночь не успевали остыть. Посреди двора стояла водопомпачка, от которой не отходили голые люди, страдавшие от жары; соблюдая очередь, они осторожно подходили под кран, вскрикивали от холодной струи и на минуту оживали.

— Раздевайтесь! — закричал на меня человек в трусиках с красивым лицом южанина. — У нас здесь одетым ходить стыдно, — продолжал человек в трусиках, приветливо улыбаясь, точно знал меня с детства. Недавно демобилизованный из армии, он получил назначение заведывать этим пустым домом, и был



вероятно вполне доволен своей службой. Это было заметно по его шутливой манере говорить с прибаутками, по его расположению к людям. Он смотрел на свою работу, как на праздное занятие, и не скрывал этого ни от кого.

Я охотно разделся и стал под кран. Подземная вода обожгла меня холодом, и я стал зябнуть на солнцепеке.

— Не пугайтесь, — смеялся заведующий домом, — против холода у нас есть верное средство, — намекая, должно быть, на спиртные напитки; он любил выпить.

— А вот от жары никаких средств нет...

Веселый и задорный его нрав казалось оживлял даже эту сожженную ашхабадскую траву и хмурые деревья, покрытые здесь вечной пылью.

Остынув под краном, в мокрых трусиках, с необсохшими телами, покрытыми точно росой, мы пошли с ним договариваться о помещении.

— Выбирайте себе койку, которая погорячей, — смеялся он, — вот тебе и все помещение... Дорого не берем, за ночь полтинник, за день три рубля. Барахло свое неси ко мне на квартиру, чтобы не сперли. Жинка у меня, баба добрая, сердечная, она и тебя накормит борщом. По банке водки тоже найдется, а потом разберемся что к чему. Кстати, кто ты?

Я засмеялся.

— С этого надо было начать.

— Глупости, — возразил он, — не по паспорту узнаю я человека, а по его морде. Весь твой паспорт у тебя на лице...

Пили мы с ним и закусывали, а жена его, на самом деле, очень внимательная и любезная, все добавляла нам в тарелки, и от каждого его слова смеялась, даже тогда, когда он ничего смешного не говорил.

Разговорились мы о беглецах, которых, по его словам, много развелось в последнее время вдоль всей границы.

Пьяненький и добренький, он говорил с грустью:

— Глупый наш народ! Ну, скажи мне по совести, чего это они бегут целыми толпами к персюкам? Чего они там не видели? У нас щи лаптем хлебают, а там, говорят, суп руками пьют. Некультурный народ...

А жена его смеется без причины, видимо, довольная им, и потому радостная.

Я заинтересовался разговором, из которого легко можно было понять, что охота за беглецами стала здесь своего рода промыслом, профессией, доходным занятием. Только исключительная удача помогала настрадавшимся людям перемахнуть через горы, служившие большим соблазном для взрослых и детей.

Посмотрев на карту, покрытую ожогами большой пустыни, где бродило теперь бесчисленное множество отрядов басмачей, совершавших набеги на партийные и советские учреждения, мне понравилась мысль пойти по следам верблюдов и, обойдя горы, выйти на караванный путь.

Так я и сделал.

На другой день я уже сидел в вагоне, уносившем меня из Ашхабада в занесенный песками город Теджен, служащий оазисом для

караванов, которые ходят по движущимся пескам -Кара-Кума. В вагоне было тесно и душно. Со всех сторон меня теснили туркмены в ватных халатах, похожих на стеганные одеяла, в высоких бараньих шапках, придававших каждому вид разбойника. Одни не выпускали изо рта длинные дымящиеся чубуки, мешавшие дышать, другие поминутно сплевывали на пол зеленый табак, который держали под языком до тех пор, пока он не начинал разъедать кожу. Молчаливые и равнодушные на вид, они были опасны своей затаенной ненавистью, не знающей пощады. Это были скотоводы, у которых государство отобрало скотину, хлопкоробы, у которых отобрали хлопок, шелководы, у которых отобрали шелк, хлеборобы, у которых отобрали хлеб.



Был ранний утренний час, когда поезд остановился у платформы станции Теджен. Сразу за станционным зданием начинался поселок, построенный из глины и сырого кирпича. На базарной площади, среди заброшенных и развалившихся лавченок, похожих на конуры животных, сидели равнодушные туркмены и жевали, как овцы, зеленый табак. Возле каждого из них дремал верблюд, нагруженный двумя квадратными тюками пресованного хлопка. Другие уже тянули веревкой за ноздрю своих нагруженных верблюдов на заготовительный пункт.

Мирная обстановка этого дремавшего городка внушала спокойное чувство, сообщала



уверенность и окрыляла меня надеждой. Нельзя было поверить, что гражданская война здесь в полном разгаре, что каждую минуту можно ожидать набега басмачей, которых называли здесь «калтаманами», что эти мирно жующие табак туркмены вдруг выхватят из под халатов ножи и начнут резать прохожих, как баранов.

Но чем дальше я шел по этим безлюдным кривым улочкам без тротуаров, притаившаяся тишина начинала пугать меня. Я даже обрадовался, когда передо мной вырос из под земли человек, перевязанный, как чемодан, ремнями, с лицом точно замкнутым на ключ. Он попросил предъявить документы.

Меня повсюду выручал корреспондентский билет, производивший сильное действие на служилый люд, особенно на всякого рода официальных лиц. Он принял во мне горячее участие, проводил меня к закомуфлированному в фруктовом саду зданию райсовета, и прощаясь посоветовал быть осторожным, не появляться одному на улице днем, а тем более ночью.

У входа меня окликнул невидимый часовой, как будто я приближался к пороховому складу. Внутри здания, как и снаружи чувствовалась тревога; я обратил внимание, что служащие вооружены, и сидят за письменными столами насторожившись, как если бы они сидели в окопах, в ожидании вылазки. Многие из них были постоянными жителями этих мест, родились и выросли в Туркестане, и о России знали по наслышке; они живо интересовались каждым новым человеком, при-



ехавшим из центра. Другие были присланы сюда на работу по партийной линии, или же из числа двадцатипяти-тысячников. Эти держали себя передо мной заносчиво, чтобы сколько-нибудь не унизиться, считали повидимому оскорблением для себя ответить на приветствие. «Тоже, мол, орел нашелся!», — должно-быть думали они про себя. Или же: «мы сами с усами». В глухих местах люди особенно самолюбивы, не хотят чувствовать себя заброшенными. Более всех смущались и, в то же время, стремились говорить со мной сосланные из центра областные, а не редко и республиканские партийные работники, заподозренные в уклонах. Их зачисляли в категорию неблагонадежных, третировали, как арестантов, гоняли на наиболее опасные позиции и, вообще, не считали за людей. Я видел, как они горели желанием поговорить со мной и не решались, не зная, прислан ли я, или выслан, и можно ли мне довериться. Во всяком случае, мой приезд всколыхнул болото, никто не мог скрыть интереса ко мне.

Вскоре вернулся с дежурства (все районные ответработники дежурили тогда при штабе) председатель райсовета, в присутствии которого все затихали, не смели иметь своего мнения и желания. Это был смуглый, с бархатными глазами, весьма озабоченный человек. Поздоровавшись со мной небрежно, он завел меня в собачью конуру, которую называл кабинетом, и стал жаловаться на трудные условия работы, и что, фактически, приходится им вести здесь военные действия с очень коварным и изворотливым врагом и, в то же время, нельзя доверять ни своим, ни чужим.

— Ведь мы живем на линии огня, — говорил он с доверчивой интимностью, как равный с равным, как бы желая этим дать мне понять, что «вы один только меня понимаете . . .»

— И в это опасное время, — продолжал он, — ко мне присылают врагов народа на перевоспитание. Говоря откровенно, разбойники-туркмены, и те лучше. А эти ведь ищут только случая, чтобы смыться за границу, предать интересы рабочего класса. Ну, дайте нам только урожай собрать, тогда я их! . .

И опять, он стал жаловаться на острую нужду в полевых рабочих из-за чего на колхозных полях гибнет не собранный хлопок, и просил меня прислать, как можно скорее, на время уборки, украинских кулаков, как будто я был рабовладельцем.



Получив особый пропуск на право посещения пограничных колхозов, на следующий день я выступил чуть свет в поход. Сперва я решил побывать в хлопковых колхозах, но боясь потерять напрасно время, я незаметно для самого себя стал уклоняться все больше и дальше на юг, пошел мимо огородов, где зрели прославленные туркменские дыни, блестящие, как медь на солнце. Огороды постепенно стали переходить в голую пустыню, с мягким, остывшим за ночь песком. Поселок все уменьшался и, наконец, совершенно исчез из

виду. Меньше, чем через час я уже встретился непосредственно с сугробами больших барханов. Они двигались на меня, но движения их не было видно. Вся необозримая пустыня была теперь открыта передо мной; она была покрыта этими огромными вблизи, и весьма мелкими вдали валунами зыбучих песков, напоминавших колышущуюся воду океана. Было красиво и страшно, и страшное, как всегда, влекло. Солнце, тем временем, разгоралось с поразительной быстротой, и очень скоро я обнаружил, что от этого всепожирающего огня никуда нельзя укрыться. Утопая в песке, я все чаще останавливался, с трудом вынимая из сугробов ноги, и думая в это время не о песках, в которых можно потонуть, а только о солнце, в котором вдруг увидел я источник смерти, а не жизни.

В воздухе было тихо, и только временами вылетали на разведку хищники, высматривая добычу; где-то недалеко смердела падаль. Притаившись, я остановился, наблюдая за полетом птиц. Быстрый вертун-ястреб, притворившись мертвым, вдруг стремительно падал на добычу, и ухватив кусок, также стремительно уносил его, преследуемый коршуном. Его движения были ловки и легки, рассчитанные на удачу. Ястреб показался мне легкомысленной птицей. Но коршун действовал осмотрительно, с расчетом, работая наверняка; он, например, долго держался на воздухе без движения, очень внимательно присматриваясь к падали с большой высоты, и убедившись, что опасности нет и ошибиться нельзя, он только тогда набрасывался на жертву всем корпусом, не складывая крыльев. Я обратил внимание,



Что при всей своей силе, коршун труслив, жаден, завистлив и быстро отступает перед опасностью. Я бы назвал коршуна малодушной птицей. Но как только над коршуном появлялся красавец-стервятник со своим смертоносным клювом, презирающий опасность, — даже ищущий ее, — коршун не сопротивляясь, почтиительно отбегал в сторону, уступая место более сильному противнику, и с криком подымался на воздух. Этим криком он как бы говорил: «сдаюсь, не преследуй меня!..»

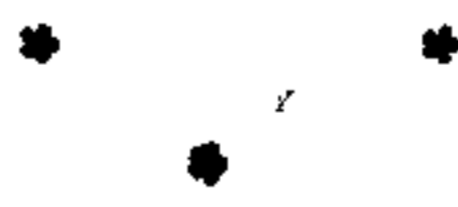
Я пошел по следам хищников посмотреть на жертву, заметив издали, как стервятник потрошил ее. Со свойственным ему пренебрежением, он посмотрел на меня умным и смелым глазом, и не спеша докончив свой кусок, быстро снялся и улетел. Я любовался им. Эта уверенность в своей силе, это презрение к опасности делает стервятника сильнее, красивей и смелей.

Вскоре трупный запах остановил меня. В нескольких шагах лежало большое тело человека, уже частью сгнившее на солнце, частью съеденное и растасканное хищниками. Преодолевая отвращение к отравляющему воздух трупному запаху, я все-же приблизился к нему насколько мог, чтобы лучше рассмотреть сохранившиеся останки. Но по этим останкам нельзя было узнать человека когда-то сильного, кому-то нужного, кого-то любившего и искавшего счастья на земле.

Подавленный дурными предчувствиями, я поспешил уйти от этого страшного свидетельства нашей тленной жизни, оставляя хищникам доканчивать свою работу. Жажда стала



мучить меня. Я хотел напиться из обжигавшей мне руки фляжки, но остатки выкипевшей в ней воды, оказались горячими, как кипяток. Пламя охватывало меня теперь со всех сторон, как на костре, и только обманчивые миражи, внезапно возникавшие и исчезающие, помогали мне идти, как мечта помогает жить. Я видел где-то близко тихие селения, укрытые тенистыми садами, и бежал навстречу этому обману. Все мучительней и труднее было мне переносить жажду, которая вызывала к жизни призрачные реки, и, всегда обманутый, я все-же бежал к ним, преодолевая усталость. Но скоро силы мои стали убывать. Слабый и всеми забытый, я повалился в горячий песок и стал тихо засыпать, как засыпают замерзающие в снегу. И тогда, отовсюду потекла ко мне вода. Я увидел прозрачные источники и бьющие ключи со студенной водой. Передо мной открывались мечтательные озера, заросшие камышем, и дикая утка уносила трепещущую рыбу. Я заглядывал в колодцы, наполненные до верху водой, и куда только ни обращался мой взгляд — повсюду бежали веселые ручьи, превращаясь в реки, и уводили меня к морям и океанам. Теперь уже вся земля была покрыта водой, и я уже не шел, а плыл по этой широкой воде, которая накрывала меня с головой, как утопленника; я шел ко дну, и в то же время начинал понимать, что умираю от жажды...



От этого опасного сновидения меня разбудили верблюды звоном своих тяжелых мед-

ных колоколов. Погоньщики-туркмены, одетые тепло, как при морозе, принуждали верблюдов садиться на горячий песок. Каким сладостным, успокаивающим и обновляющим показался мне тогда этот звон, напомнивший о последней заутрене в Мироносецкой церкви перед тем, как ее снесли большевики. Видение все еще продолжалось: «Не волхвы ли это на верблюдах несут дары рожденному Спасителю?» — с замирающим от восторга сердцем думал я, не умея еще отличить мираж от правды.

Тем временем, туркмены заботливо хлопотали возле меня, обливали всего меня из боченка водой, поили какими-то настоями трав, — одни против горячки, другие от столбняка, — смазывали ожоги на лице и руках простоквашей, и понесли меня на руках к верблюду. Когда они привязывали меня веревками к верблюжьему горбу, точно хлопковый тюк, я не мог поверить, что имею дело с разбойниками пустыни, рожденными с ножом в зубах, известными под страшным названием «басмачи».

Не объясняя направления, они медленно повезли меня к заходящему солнцу.

— К а р а ш о ? — спрашивает меня косоглазый старик с голым бабьим лицом, раскрывая улыбкой голые десна.

— Спасибо! — отвечаю я, и в то же время хочу понять, куда это они везут меня? Вот пески переходят в огороды. Потом потянулись заборы из глины, за которыми стоят в пыли абрикосовые деревья и шелковица. Здесь «басмач» останавливает верблюда, отвязывает с

его шеи звенящий колокол и тревожно прислушивается: далеко слышно, как кричит паровоз. Он осторожно снимает меня с верблюда и указывает рукой на пыльную дорогу, которая ведет к станции Теджен. И уже без будущего, с разрушенной надеждой я возвращаюсь домой «строить социализм».

---

## В ГОСТЯХ У ТАМЕРЛАНА

### I

На вокзальной площади Самарканда полно людей. Все неподвижно и покорно ожидают своей очереди на билет, как будто такой порядок заведен навсегда, и иначе быть не может. Они привыкли, обжились на этой привокзальной площади, и уже никто не спешит к поезду. У всех развязаны узлы, раскрыты чемоданы, разобраны и выставлены наружу домашние вещи со всяким неприглядным хламом, как на толкучке. Здесь же на площади варят чай в жестяных чайниках, пекут лепешки на древесных углях, играют в карты или нарды, и несмотря на пылающую жару пьют водку стаканами. Быстро пьянея, они сразу засыпают мертвым сном.

Горячее солнце сжигает мысли и желания. Нигде не видно бодрых, жизнерадостных людей. Не слышно птиц, притаившихся на голых ветках. Всех клонит ко сну. В ожидании извозчика, я с трудом преодолеваю дремоту, стоя на открытом месте.

— Лошадь здесь дороже паровоза... — произносит раздраженный пассажир, приглашая меня присесть среди дорги на его деревянный сундучек.



— Да, — продолжает он, — лошадь можно съесть, а машину нельзя . . .

Не знаю, шутит ли он или говорит правду, но извозчика все еще нет, как будто, на самом деле, съели по дороге его лошадь. Не скоро показывается из-за поворота разбитый экипаж, бегущий вприпрыжку, и на нем дремлет узбек, завернутый в теплый стеганный халат. Толпа шумно бросается к нему, но не многим удается взять с боя место.

— Зачем скандал? — равнодушно говорит узбек, и обещает к вечеру всех нас доставить в город.

Наконец, кляча везет меня в красную чайхану, напоминающую снаружи средневековую развалину. Несмело вхожу я внутрь и сразу слепну. От лежащих на нарах одеял и верблюжьего войлока под ногами слышится удушливый запах разложения. Привыкнув к темноте начинаю различать среди наваленных одеял и подушек угрюмых узбеков со сверкающими глазами. Они сидят свернувшись и видимо скучают.

Вертлявый мальчуган, весь в струпьях, с красными больными глазами, несет мне на подносе костер с дымом, из которого выглядывает обуглившийся глиняный чайник с отбитым носом. Бедность делает людей подозрительными и робкими. Глядя на них, я тайком достаю из своего вещевого мешка кусочек сахара и крадучись подношу его ко рту. Но добрые люди советуют мне быть осторожней.

— Вы здесь человек новый, — говорит придвигаясь ко мне незнакомый узбек в нарядном халате, одетом на голое тело. — Разве

можно показывать сахар на людях, когда все здесь носят при себе острые ножи? Спрячьте! — настаивает он, проявляя какое-то странное волнение, точно я держал в руке не сахар, а слиток золота. И хитро усмехнувшись, он шепчет мне на ухо, чтобы никто не услышал:

— За такой кусок сахара, и если прибавить к нему еще осьмушку чая, вы сможете здесь купить красивую жену . . .

Утром я не нашел своего вещевого мешка и доброго узбека. Радуюсь, что остался жив, я незаметно выбрался из красной чай-ханы и направился в более оживленную часть города, где помещался узбекский университет и другие культурные учреждения столицы. Здесь я почувствовал себя в большей безопасности, хотя в Самарканде нигде нельзя уберечься от воров.

В университете я нашел одного только сторожа, — было время летних каникул, — который предложил мне поместиться в любой аудитории, если мне не твердо будет спать на скамье.

— К нам, другой раз, заходит переночевать один очень большой ученый, профессор Поливанов, без руки; этот и скамейки не спрашивает, спит у порога на голом полу, точно бездомный пес . . .

— Вы меня этой новостью очень обрадовали, — воскликнул я, оживляясь и, тем самым, смущая сторожа, не понимавшего причин моего восторга.

— Не то меня обрадовало, конечно, — разъяснял я сторожу, — не то, что профессор на голом полу спит, а то, что он объявился, что он, значит, жив еще, что я его увидеть смогу . . .

— Они живы, это верно, — подтвердил сторож, — только такой жизни не всякий будет рад.

С тех пор, как профессора Поливанова внезапно вывезли из Ленинграда, точно краденную вещь, все его забыли. По слухам, дошедшим до меня, он находился в ссылке в Самарканде, без права передвижения за пределы города, но другие говорили, что его давно уже нет в живых. В то время я не мог привыкнуть к потере, опустошавшей область моих знаний культуры и языков Востока — точно засыпали колодец, и больше не откуда было мне напиться живой воды.

— Восток, — говорил мне профессор, — это колыбель культуры человека, а Запад — его могила.

Профессор Поливанов был китайцем среди китайцев, индусом среди индусов, арабом среди арабов, персом среди персов, и все одинаково считали его своим. Он переносил меня далеко на Восток, где мы соприкасались с вечностью, как будто жили мы прежде, как и теперь; прошлое для нас никогда не умирало.

— Мы живем прошлым, — часто повторял профессор. — Мы обкрадываем предков, проедаем их наследство, и все, что мы творим, сотворено до нас. Старую, забытую всеми мысль, мы выдаем за новую, мы приписываем себе то, что нам не принадлежит...

И он, как-то особенно живо представился мне.

— Где я могу найти профессора?

Сторож не мог мне помочь, советуя, однако, искать его в старом городе.

— В старом городе, — повторял он, — только в старом городе, и там, где больше нищих и калек.

### III

Приближаясь к гробнице Тамерлана, мысли о прошлом, внушенные мне профессором Поливановым, возвращались снова ко мне. Гробница помещалась среди развалин потускневшей площади Регистан, по соседству с древним университетом-медресе Улуг-бека, с его обсерваторией, с мечетью беснующихся дервишей, носящей название Шах-и-Зинде, — со всею этой тысячелетней культурой прошлого. Все было, как прежде, и даже те же нищие с медными тарелками у ног выпрашивали милостыню, прославляя Бога.

Гур-Эмир, — так величали Тамерлана подданные его империи, — давно уже сгнил, гробница его пуста, и только надпись на могильной плите, высеченная красивой арабской вязью, и гласящая: «Все государства мира не могут удовлетворить меня, великого повелителя земли», — эта надпись вызывает сомнение в его смерти. Да, думаю я, тиран все еще жив, все еще здесь, среди нас, и своим ненасытным властолюбием угрожает жизни каждого.

Недалеко от гробницы стоит одетая в мозаику башня университета Биби-ханум. Этой башни не было бы здесь, если бы не было любви. Великий повелитель земли строил ее в подарок своей невольнице — маленькой, кроткой, покорной китаянке, которая вся при-



надлежала ему одному, и этого было слишком мало; душой невольницы он овладеть не смог.

Я смотрел на эту красавицу-башню снизу вверх и сверху вниз, чтобы узнать ее прошлое таким, каким оно было на самом деле. Я старался оживить эти мертвые камни, которые могли бы рассказать мне о жизни рабов, носивших на себе тяжелые неотесанные камни, мрамор, кирпичи и глину, — носили днем и ночью, изо дня в день, из года в год, и придя в отчаяние, дети проклинали своих матерей за то, что они родили их. Завоеватель сгонял на постройку башни самых сильных и самых умных, из Сирии, Египта, Китая, Турции, и среди них были русские пленные, взятые Тамерланом под Казанью, забытые теперь всеми и навсегда.

С тех пор ничего не изменилось. Все так же сгоняют сюда ссыльных из покоренных современными варварами стран Европы и Азии.

«Профессор был прав», — думал я, сходя по обвалившимся кирпичам внутреннего хода башни. «Мы жили прежде, как и теперь. Прошлое никогда не умирает...»

А снаружи, также, как в старину пели нищие, прославляя Бога. Они выставляли напоказ свои язвы, пороки, уродства, чтобы вызвать сострадание и заработать на них свое дневное пропитание. И также, как в старину, голубая башня Биби-ханум, покрытая всегда молодой мозаикой, отражала все краски небес, изменчивые в этот предзакатный час. Она была хороша собой, ее можно было любить, как живую.

Выбравшись на свободу из толпы нищих, я спрашивал каждого встречного о профессоре Поливанове. Он непременно должен быть где-то здесь, среди этих развалин и мертвых кирпичей, но никак ни в новом городе. Встречные отсылали меня в разные глухие улицы и переулки, заводившие меня в тупики, откуда трудно бывает найти дорогу.

— Может быть он жил при Тамерлане? — замечают шутники. — Тамерлан тоже очень любил ученых, пока они были ему нужны, а потом их убивал...

Отдыхая в чай-хане, я спросил у оборвыша со струпьями на голове и с бельмом на глазу, который вышел из темноты точно разбойник и поставил передо мной чайник:

— Послушай, сюда не приходит ли к вам пить чай русский ученый, без руки?

— Без руки? — оживился «разбойник». — Этого бродягу вы можете легко найти по запаху опиума. Он всюду, где только слышится эта вонь...

— Разве он курит опиум? — возразил я, сомневаясь.

— Он не только курит, он его жрет. Ваш ученый говорит, что у него большое горе, и что от такой болезни лучше всего помогает опиум.

Тогда я пошел искать профессора «по запаху».

Сразу за чай-ханой лежало свалочное место, куда слетались вороны большими стаями. Дальше, тянулся низкий забор из глины, за которым прятались абрикосовые деревья, совсем голые, без фруктов и без листьев. Дальше, видны были жилые дома, похожие на могилы мусульман, с плоскими крышами, поросшими травой. Там всегда темно, тесно и грязно, как в сырой земле, и живые гниют в этих домах, как мертвые.

«Может быть здесь я найду профессора? — ободрял я себя, зная, что он бедствует.

Тем временем, какие-то босые люди, одетые в лохмотья, с лицами мучеников, обгоняли меня. Где-то близко плакали, как дети, привязанные к деревьям ослы. Среди деревьев и ослов копошились люди; они сидели вокруг небольшого огня, как заговорщики. Солнце еще стояло высоко и огонь костра слабо светился.

С дурными предчувствиями я приближался к притаившимся у костра людям, которые курили опиум из одной трубки, ходившей из рук в руки. Бережно и любовно, они накладывали в трубку жаркие огоньки из костра, и жадно припадали к ней губами.

Меня пригласили к костру и стали выпытывать: откуда я, как попал в эти места и что мне надо? Я им во всем признался, и мне поверили. Тогда старый узбек, похожий на обгоревшее дерево, открыл пустой рот, посмотрел потухшими глазами на солнце и сказал с усилием:

— Вы подождите, он скоро будет... — и потянулся к трубке.

— Только не обижайте нас, — прибавил он походя, все еще сомневаясь в чем-то. — Нельзя говорить человеку плохо о том, что любит он больше жизни...

Недалеко лежал мертвый баран со снятой шкурой, и девочка лет девяти стояла над ним с ножом. Она легко справлялась с животным, вырезывая из его теплого еще тела куски окровавленного мяса, и тут же клала их на огонь. Все с жадностью набрасывались на мясо, в котором запеклась кровь, и разрывали его черными зубами.

Далеко в горах умирало солнце, и очень скоро всех нас поглотила темнота. И тогда слышнее становился всякий шорох и звук, пропадавшие при свете.

— Мардум (люди)!... — послышался из темноты голос, как будто призывавший на помощь. Все зашевелились, уступая место гостю.

Теперь я узнал его, хотя был он выбрит, как каторжник, стал меньше ростом, одет в рубашку с чужого плеча, и босой. Пустой рукав не был заправлен в штаны за пояс, и его относило ветром, когда профессор, услышав сладковатый запах опиума, некрасиво побежал ему навстречу.

— Дайте место учителю, дайте место... — повторяли один за другим сонные люди.

Он застенчиво сел к огню, приласкал каждого добрым словом, и жадно припал губами к дымящейся трубке. Глаза его блуждали в это время, не то прося, не то боясь чего-то, как будто был он перед всеми виноват. Мне



было стыдно и неловко быть свидетелем чужой тайны, и я хотел незамеченным уйти от этого костра, исчезнуть, забыть все увиденное, не знать его. Но было поздно. Блуждающий взгляд профессора остановился на мне, он узнал меня. Я был пойман им с поличным, как вор, и мне показалось, что теперь не он, а я навсегда пригвожден к позорному столбу. Он не отпускал меня своим укоряющим взглядом, уничтожавшим меня, и, медленно отнимая от губ трубку, сказал строго, как бывало на экзамене:

— Почему вы здесь? — и горько усмехнувшись, добавил:

— Я знаю, почему вы здесь. Вы пришли посмотреть на меня, как смотрят молодые люди на падшую женщину.

Я молчал пристыженный.

— Что-же вы не смотрите! — закричал он, выронив из рук трубку.

— Смотрите на меня, любуйтесь! Ведь я сейчас голый перед вами, почему не смеетесь надо мной? Но мне теперь все равно. Я ссыльный. Слышите, ссыльный! . . . Чего же вам еще от меня надо? — и дрожащей рукой, он снова потянулся к трубке.

Все старались ему угодить, подкладывали коричневые лепешки опиума в гаснущую трубку, раздували ее огнем, и предлагали ему горячие куски запекшегося мяса.

Отстраняя рукой мясо, профессор снова обратился ко мне:

— Помните, я учил вас вечному, но его уже больше нет. К чорту прошлое! К чорту будущее! Ничего не было и ничего не будет. Есть только настоящее. Есть только то, что есть. Я курю эту отраву потому, что она дает мне иллюзию. Понимаете? Иллюзию! Лучшее, что я нашел на земле, это — иллюзия. Мне больше ничего не надо. Оставьте меня!.. — со стоном прокричал профессор, и в его потускневших глазах были видны слезы.

---

## ВОЛКИ

Этот приднепровский городок еще не лишился своего бывшего очарования. Также, как и прежде продолжали жить здесь запущенные сады, переименованные большевиками в парки культуры и отдыха». Также, как и прежде светило над ними солнце, и птицы пели в них, как в старину. За каждым деревом, в примятой траве на мостовой, за ставнями постаревших домов пряталась тихая провинциальная жизнь. Но теперь, она стала еще тише — она притихла, притаилась и замерла. Утром еще шумят люди, бегущие на пристань, к пригородным поездам, к троллейбусам, легко вступая в ссору и даже драку у каждой остановки.

К восьми утра на улицах уже нельзя встретить людей. Пусто в это время и в жилых домах, почти всегда закрытых на замок; в городском саду не играют дети, у кооперативных лавок не видно очередей, которые выстраиваются вдоль улиц только после четырех часов дня, когда рабочие и служащие возвращаются с работы. Но днем, даже в пивных не слышно пьяных голосов. В такое время я возвращался на станцию Черкассы, оставляя навсегда этот милый, запущенный и заброшенный городок, напоминавший что-то из далекого прошлого. Но после нездоровой тишины вы-

мершего на день города, приятно было снова встретиться на вокзале с живой толпой. Ее бестолковая суета, неумолкающий ни на минуту говор и шум, напрасные споры — все это вызывало теперь у меня радостное чувство. Я жадно прислушивался ко всяким разговорам этих простых деревенских людей, от которых часто узнаешь правду.

В то время, всех волновали странные события, о чем громко не принято было говорить: в селах, на улицах рабочих поселков и даже в городах бродили на свободе и в большом количестве волки; они наносили такой большой ущерб хозяйству, не редко угрожая жизни людей, что власти организовали борьбу со зверем, обещали награду от пятидесяти до ста рублей за каждого убитого волка. Все горячо обсуждали, как лучше травить волка, рассказывали правду, а чаще неправду о своих личных встречах со зверем среди бела дня, и о том, как зверь, встретившись со смелостью, постыдно бежит.

У буфета третьего класса я встретил группу мужиков, сидевших за голым столом и пивших чай из жестяного чайника на общие деньги. Они внимательно и тревожно слушали разговор очевидцев, мирно беседовавших у края стола, возбуждая всеобщий интерес. Один из них был с усталым лицом потрепанного жизнью человека, давно не бритый, давно не чесанный, с деревянной ногой, подвязанной ремнями. Другой — с открытым рябым лицом отличался от своего собеседника не одними только годами, но и характером. Ему было, может быть, не многим больше двадцати лет, и он смотрел еще весело и беспечно на



всякую заботу. При каждом слове, он подмигивал почему-то одним глазом, как бы стараясь дать понять, что он знает о чем-то больше других, и при этом скалил без причины зубы.

Я прислушался к их разговору и заинтересовался.

— Сам видел, — говорил калека, осторожно прихлебывая горячий чай из глубокого блюда. — Поверишь ли, целая свора с малышами в зубах, точно не зверь-бродяга, а наш мужик-переселенец. Шли это они через огороды, потом свернули на проселочную дорогу, и прямо на село...

Помолчав немного, он повторил снова:

— Сам видел, — и опять задумался.

— Не ты первый их видел, — подтвердил рябой. — Теперь всюду тут только и разговоров, что о звере. Днем, черти, по дворам ходят, людей пугают. Хорошо, что на селе теперь скотины мало осталось, жрать ему на селе, все равно, нечего...

— Он не за скотиной ходит, — возразил калека, значительно посмотрев на рябого, как будто открывая тайну. — Он теперь на человека идет! Прошлой ночью, по соседству с нашим двором было, зверь бабу зарезал, а корову в хлеву живой оставил. Баба была с брюхом, так он ей брюхо распорол, дите вынул и унес...

— Вот разбойник! — закричал рябой, и возмутился. — Власти чего за порядком не смотрят?

— Власти? — осторожно произнес калека, и осмотрелся. — Наш председатель на собрании объявил, что волков кулаки выдумали, и

сами они приманивают зверя к селу дехлятинной, чтоб колхозам вредить.

— Это все политика... — отвечал рябой показывая зубы и подмигивая глазом. — Все они теперь политикой закрывают... На зверя надо с ружьем идти, надо на него облавой, загонять его надо, а еще лучше — с пулеметом: поставить пулемет на дороге, да по зверю. Он пули всего больше боится...

— Что пулемет! — возразил снова калека, и отвернулся. — Ты о другом подумай: чего это зверь на человека открыто идет? Говорят, с голоду зверь осмелел, жрать ему нечего. А я тебе прямо скажу: зверь беду нашу почуял — он, подлец, чутьем живет. Он теперь в силу человека не верит, теперь зверю все можно...

И задумавшись, прибавил:

— Это, брат, к плохому примета...



И, на самом деле, все переменялось теперь на нашей земле, и зверь одолевал человека. Он был повсюду и везде — в городах и в селах, в домах и в избах, на проезжих дорогах и на всякой тропе. Страх делал людей робкими и слабыми, и зверь смелел. Жадный и раздраженный против людей, он всюду искал своими воспаленными глазами человека, чтобы погубить его.

Волк не укрывался теперь в лесу, не собирался для разбоя в свору, а выходил в одиночку на открытое место, и прислушивался — где еще дышит человек? Ожесточенное серд-

Це звёря лёгко угадывае слабых. Но матёрые не сразу приступают к делу; они подолгу ждут верного случая и нападают на жертву, никогда не сомневаясь в успехе. Быстро, не давая опомниться, они сильными лапами опрокидывали человека навзничь, брали его за глотку, и припав к жиле черными зубами, напивались горячей человеческой кровью. Но никогда не могли они утолить своей жажды.

Прибылые и переярки не имели терпения и выдержки матёрых, они по собачьи лезли в драку, озлобляясь и ослабеваая раньше времени. Волнуясь от нетерпения, они не умели сразу найти жилу, прокусывая горло, и искалечив напрасно человека, уходили посрамленные, с лапами в крови.

На селе происходила в то время большая паника и смятение. Зверь отовсюду теснил мужика, брал его за глотку, напиваясь до пьяна кровью человека. Спасаясь от зверя, живые бросали мертвых, и уходили из родных мест не зная куда. Одни лишь бабы-кликуши оставались на селе. Они собирались в толпы и выли, со слезами вышрашивая у зверя милосердия. Волк уходил тогда из села, чтобы ночью вернуться снова и дорезать бабью глотку.

Пьяный кровью, зверь никого не щадил, и никому не давал ответа.

---

## ПОБЕГ

### I

Пока мы шли в облаках, еще можно было увидеть землю и не сбиться с пути. Но облака сгущались, темнели и, встретившись, начинали сварливо грохотать, раздраженные друг против друга, как недобрые соседи. Потом пришла большая, тяжелая, черная туча, и зацепилась за хребет. Мелкие облака заволновались, и не успев загрохотать, пропадали бесследно. Другие собирались вместе, и тогда удар грома был сильнее и продолжительней. Но большая туча поглощала всех их без труда, убивая каждую молнией на месте. Она все росла, тучнела, отовсюду поджигая небо, грохоча всем своим черным нутром, и угрожая всем. Пресыщенная, она уже была не страшна, она больше не могла удержаться на небе, и скоро повалилась на землю проливным дождем. Неподвижные горы, казалось, зашевелились вдруг, и вся окрестность пошла на дно. Спасаясь от воды, мы взбирались на самую последнюю высоту, чтобы удержаться на поверхности, не быть снесенными её стремительными потоками.

Застигнутые врасплох разбушевавшейся стихией, мы вдруг поняли, что надеяться нам не на кого, что мы предоставлены самим се-



бе, располагая только скудным опытом, слабыми силами, крошками знаний и понятиями, данными нам Богом. Присутствие самого Бога мы еще не замечали тогда возле себя, и потому чувствовали себя осиротевшими, одиночными. Но, как всегда при опасности, откуда-то появляются дремавшие силы, и необычайная энергия, которой не было раньше и не будет уже потом, помогает преодолевать любые препятствия.

Обливаемые дождем, мы все-же удержались на скале, где уже можно было утвердиться ногами. На минуту приходит успокоение, и то, что казалось страшным, как будто никогда не существовало. Мне хорошо, даже весело, и радуясь неизвестно чему, я думаю в то же время о замечательном свойстве человеческой памяти быстро забывать опасность, когда проходит она бесследно. Только страдания и горе, повидимому, остаются с человеком навсегда. А жена думала о своем: Что-то сейчас происходит дома? Сестра наверно еще спит, а может-быть только нежится в постели — утром её всегда разбирает лень... Мать хлопочет с примусом, она торопится на «Канатку», эту проклятую Богом канатную фабрику, чтобы вить веревки ради пайка. Всю ночь она страдала от мигрени: теперь боль утихла, но остался какой-то ноющий след в висках и в затылке, и слабость во всем... Бедная мама!» — и ей хочется плакать.

К рассвету, скалы снова обнажились, снова небо примирилось с землей, и на всем заиграло солнце. Босые, продрогшие и промокшие насквозь, мы были похожи на водяных, кото-

рыми пугают детей. Отовсюду бежала на нас вода. С осторожностью отыскивая выступавшие из воды камни, мы медленно переступали бурные потоки, пробираясь по склонам гор к видневшейся вдали долине. Сочные луга, напоенные водой, дышали здоровьем и молодой свежестью. Скоро мы встретились с коровами, жадно щипавшими изумрудную траву. Потом показалось большое стадо тонкорунных овец, сбившихся в кучу и теснившихся друг к другу; они пугливо бежали от нас, точно так же, как и мы бежали от человека. Ожиревшие и обленившиеся собаки вдруг бросились на нас, оберегая стадо. А в небольшой тени сидел притаившись пастух в длинной персидской поддевке и в шапке, натянутой на голову, как чулок. Он беззаботно перебирал четки, и жевал со скуки жареный горох. Он был спокоен, ленив, и ни о чем не думал, точно все в жизни было устроено именно так, как он того хотел. Увидев нас, он смутился и оробел — мы помещали его спокойствию. Этот наивный мальчик, склонный к суевериям и предрассудкам, мог принять нас за привидение, за какую-то нечистую силу, которая мешает правоверным мусульманам жить праведной жизнью. Он боялся русских, у которых нет теперь Бога, — как говорили все соседи в его деревне, — и которые поклоняются теперь сатане.

— Не всё правда в твоих словах, — возражал я, стараясь убедить его в том, что мы тоже люди и происходим от людей. Общий язык незаметно сблизил нас, и пастуху видимо стало нас жалко. Он отогнал собак, жаждавших растерзать нас, чтобы доказать ревностную службу своему хозяину, и усты-

дившись должно-быть своего равнодушия к несчастью людей, стал угощать нас жареным горохом.

— Кушайте . . . — говорил он добрея и посоветовал нам пойти вдоль левого берега небольшой реки, спадавшей с гор, которая приведет нас к черной палатке Рамазана, сына его дяди, женатого на племяннице брата его отца. Повидимому, он очень гордился своим родством с Рамазаном, и давал знать об этом при каждом удобном случае.

Мы пошли по его совету искать заветную палатку Рамазана, но не пройдя и ста шагов, вдруг услышали позади себя взволнованный голос пастуха, догонявшего нас.

— Стойте! — кричал он таким голосом, точно мы перед ним в чем-то провинились.

— Зачем не сказали, что у вас нет хлеба?

Он присел на камень, развернул пестрый платок из домотканного шелка, на котором были изображены наложницы, танцующие в раю, и подал нам пресную лепешку в мелких ожогах, напоминавшую шкуру зверя.

— Это вам на дорогу, а я обойдусь . . . — сказал он смущаясь, и вернулся к своим овцам.

## II

Уже издали мы заметили посланную нам Богом палатку пастухов. Она вся дымилась, как будто внутри ее разгорался большой пожар. Дым валил из всех отверстий и низко стелился по земле, подбираясь к нам. Мы бросились на помощь, когда навстречу нам вылетели изнутри полуголые дети, как цыплята,



ослепшие от дыма. Они были настолько веселы и так хорошо резвились на солнце, что мысль о несчастье рассеялась быстрее дыма.

— Что там у вас?

— Там? — недоумевали дети.

— Там женщины готовят чай мужчинам, — ответили они равнодушно, протирая пальцами продымленные глаза.

В это время, из палатки вышел большого роста курд с подстриженными усами и в модной шапке «пехлеви», с козырьком. Он накричал на мелюзгу, и обратился к нам.

— Вы откуда? — спросил курд, внимательно посмотрев на нас большими черными глазами со вспутанными ресницами.

Это был спокойный и степенный хозяин небольшого стада овец, которые паслись в горах.

Осмотрев нас с головы до ног, он как-то разом все понял, и не ожидая ответа, с несвойственной его натуре живостью, завел нас внутрь палатки, наполненной доверху едким дымом. В этом дыму мы едва различали одни лишь силуэты женщин в ярких шароварах, с блестящим и звенящим украшением на груди и на руках. Они готовили чай, разжигая большой костер из промокших за ночь на дворе дров, подвешивая к огню каменный котелок с водой. Курд разогнал детвору и приказал женщинам согреть для нас чай на углях, в виде исключения. Одна из женщин, прикрываясь ситцевым покрывалом, побежала к речке, и очень скоро вернулась с жестяным бидоном из-под керосина, наполненным доверху водой.

Вода быстро вскипала на горячих углях, и мы жадно пили, не давая настояться чаю, раз-



влекая должно-быть всех присутствующих своей жадностью. Чай и сахар составляют источник утонченного наслаждения для этих людей. Они пьют медленно, из маленьких стаканчиков, напоминающих рюмки, настаивая его до черна, с плавающей сухой чайнкой на поверхности, сладким, как сироп по утрам, и в прикуску вечером. Они обставляют обряд чаепития такой трогательной заботой, любовью и вниманием, как это делают только наркоманы-опиенисты, приступая к курению опиума. Рюмка чая для перса означает много больше, чем рюмка водки для нас, или стакан вина для итальянца. Легко понять, какими невежественными дикарями показались мы гостеприимным курдам, когда мы просили наливать нам чай в жестяные кружки, из которых поят овец.

Повидимому, жадность, как и обжорство, уродует человека, делает его некрасивым и смешным. Глядя на нашу жадность, женщины и ребятишки разразились веселым, заразительным смехом; они, видно, долго боролись с собой, но прорвавшийся смех уже ни чем нельзя было остановить. Рамазан запретил им смеяться — все подчинились ему беспрекословно.

— Стыдно смеяться над несчастьем людей, — сказал Рамазан строго.

— Русские живут теперь в проголодь, у них ничего нет... Все, что у них есть, принадлежит не им, а государству. Овцы, например. Все овцы принадлежат государству, коровы тоже... Малым детям, и тем молока не дают вволю, а если дитя плачет, просит еще молока — ему уже не дают. Такой закон! А

если на праздник Байрам кто-нибудь зарежет барана, такого могут заточить в тюрьму . . .

Женщины совсем примолкли, слушая его притаив дыхание, и слепо веря каждому его слову. На их лицах появилось сострадание и, вздыхая, они снова наливали нам чай, развязывали узелки с последними запасами хлеба на неделю, и упрашивали нас есть.

Однако, пора было нам отправляться в дальнейший путь, подалее от опасной границы, вглубь страны. Рамазан не сводил с нас своих умных, озабоченных глаз, должно-быть думая: «Вот двое молодых, может быть только что поженившихся людей; они хотят жить и радоваться, а за ними гонятся по пятам, чтобы отнять у них жизнь и радость». И он, видимо, хотел помочь нам. Это желание было так сильно в нем, что он не пожалел бы всего своего стада, только бы спасти нас.

— Брат мой, — сказал он по-персидски, отзывая меня в сторону. — Курды злы, они разбойники, и они не любят «неверных». Но если курд полюбит человека, то он будет ему братом. Вот я полюбил вас. Отныне мой дом будет вашим домом. Идите по-над речкой, пока не встретите первое село — там каждый младенец знает Рамазана. Вы легко найдете мой дом, и скажите, что я прислал вас, и вас примут, как брата. Идите, не теряйте времени. К вечеру вы наверно доберетесь до села, если захочет Бог . . .

Солнце стояло уже высоко и было жарко. Мы шли по-над речкой, обгонявшей нас, встречая на пути одних лишь прожорливых коров и овец, пожиравших траву, и нищие птицы

опускались на землю за подающим. Они были веселы, радостны и беспечны.

### III

Персидское село бывает трудно отличить от персидского города. Может быть в селе больше фруктовых деревьев, и из каждого двора несется запах навоза и жалобный вопль осла. Базары в селе тоже меньше, беднее и грязнее. На улицах села реже можно встретить прохожего, а тем более женщин, которые ходят в гости к соседкам не по улицам, а по крышам — переступая с крыши на крышу. За длинными и унылыми глиняными заборами прячутся такие же глиняные дома с плоскими крышами, с глубокими погребками и с антресолями, с бассейнами посреди двора, в которых часто тонут малые дети. Дом перса наглухо закрыт для посторонних. Внутри дома могут проникнуть только близкие родственники, дети и воры.

Дом Рамазана мы нашли по резьбе на деревянных воротах — она была похожа на тонкую вязь с рисунком ковра. Мы постучали медным молоточком, подвешенным к раскрытой пасти медного льва. Послышались женские голоса, очень оживленные, точно обрадовавшиеся чему-то.

— Чужой или свой? — спросил, наконец, очень приятный грудной женский голос, все еще не открывая ворот.

Я сказал по-персидски, как выучил меня Рамазан:

— Мой брат Рамазан велел мне с женой остановиться на ночь в его доме.

— Очень хорошо, очень хорошо . . . — поспешно ответила женщина, снимая с ворот де-



ревянную перекладину. Внутри было много людей, все больше женщины и дети. «Как много здесь во всех домах женщин, — подумал я, — а на улицах их совсем не видно».

Когда ворота открылись, все разбежались, оставив нас одних. Погода вышел к нам мальчик лет девяти, одетый, как взрослые, в пиджачную пару. Вежливо поклонившись, он увел мою жену к женщинам, а меня оставил в пустой комнате, покрытой дорогими коврами, и с глубокими нишами во всех стенах. Принесли стеганное одеяло и несколько пестрых подушек, и пригласили меня сесть на них, снявши предварительно обувь. Скоро комната стала наполняться родственниками Рамазана в том числе пожилыми женщинами с плотно закрытыми покрывалом лицами. Вернулась с ними и моя жена, весьма смущенная; ее рассматривали курдянки со всех сторон, как на примерке, и задавали ей всевозможные нескромные вопросы, от которых могла бы покраснеть даже Клеопатра.

В этот вечер в доме Рамазана зажгли все лампы, стоявшие много лет в нишах без употребления, для красоты. На полу раскладывали скатерть с узорами, приготавливаясь к ужину. Было слышно, как за стеной плакал, как ребенок, молодой барашек, у которого отнимали жизнь, чтобы угостить нас жирным пилавом с жареным кебабом.

Было совсем темно, когда вернулся домой сам Рамазан. Женщины встречали его с почетом, называли господином, предупреждали все его желания, и не смели ослушаться. Это были большей частью родственницы его жены, его мать, сестры, может быть дочери. Все обсту-



пили его, забрасывали вопросами, перебивая друг друга, так что он не успевал отвечать всем. Это было похоже на праздник; с нашим приходом, повидимому, всколыхнулась их замершая жизнь. По их лицам можно было легко угадать, что они благодарны нам за то, что своим побегом развлекли их. Между тем, Рамазан строго предупреждал женщин, чтобы держали языки за зубами, и никого из соседей не впускали в дом, пока мы здесь.

Но все село, даже в соседних деревнях, уже знали о нас. У дома Рамазана росла толпа любопытных, и просто зевак, желавших хотя бы только посмотреть на русских беженцев. Посредством слухов, я превращался в министра, в депутата парламента, в близкого друга самого шаха, даже в давно умершего полководца времен русско-персидской войны.

Такая известность не могла содействовать нашей безопасности, и Рамазан спешно послал мальчика за старостой, говоря:

— Пусть кедхода (староста) решит, как для вас лучше. Никто не посмеет причинить вам вред, если того не захочет Бог . . .

«Кедхода» не заставил себя долго ждать. Это был довольно старьй, но хорошо выбритый перс, с породистым носом, большими черными глазами на выкате, и мясистыми ушами, обросшими волосами, как шерстью. На нем была жилетка с шестью карманами, полосатые spodние штаны, и стоптанные веревочные туфли «гиве» с курносым носком, которые прикрывали только пальцы ног, отчего он всегда сверкал своими голыми пятками. Поговорив с нами о здоровьи, на что хорошо вос-

Питанный перс тратит по меньшей мере пол часа, «кедхода» поинтересовался нашим имущественным положением и деньгами, что видно не доставило ему удовольствия: пожитья было ему нечем. Он подозвал грамотного мальчика, сидевшего без дела у двери, и сказал:

— Пиши!

Обмакнув камышевое перо в черные и липкие чернила, мальчуган стал рисовать на бумаге слова персидской скорописи, напоминавшей живопись. В этом тонком и легком рисунке заключался рассказ о пойманных на границе русских, у которых не обнаружено ни денег, ни хлеба, ни носильных вещей, а только личные документы на русском языке, и фотографии близких родственников.

Вынув неспеша из жилетного кармана печатку, размером с арбузное зерно, староста поплюнул бумагу и приложил печатку к мокрому месту. С этим донесением он отправил мальчугана на ближайший пограничный пост.

#### IV

Этот пограничный городок, вылепленный из глины, с улицами без мостовой, с водосточными канавами без воды, с худыми деревьями без листьев, был защищен с севера хребтами Белой и Черной горы, которые в дальнейшем принимают название Гиндукуша. Не многие знают о существовании этого городка, едва заметного на земле, но, тем не менее, он населен людьми, как везде пристрастными к своим привычкам, понятиям и заблуждениям. Среди немногочисленного населения города заметно выделяются солдаты пограничной

Стражи, полицейские и жандармы, всегда враждующие между собой, когда дело касается захваченной контрабанды. Реже встречаются на улицах люди в гражданском платье, одетые почти всегда не по росту, в чрезмерно длинные, или в чрезмерно короткие пиджаки, и в смятые от сна spodние штаны. На видном месте, в небольшой тени, сидят уличные брадобреи; они при помощи куска стали, которым легче убить, чем зарезать, превращают отсталых персов в цивилизованных людей. Со времени воцарения династии Пехлеви, когда небритых стали таскать в полицейский участок, значение уличных брадобреев здесь сильно возросло.

Под вечер, из глубины дворов, точно из глубины души, доносится старинное заунывное пение, под аккомпанимент двухструнной балалайки. Но с наступлением темноты, все вокруг незаметно умирает. Кое-где еще слышатся отдельные голоса; прерывисто и жалобно, как дыхание больного, вскрикивает и обрывается песня курда. Обнаженные горы покрываются последним румянцем, и тогда все камни бывают хорошо видны.

Тем временем, набожные персы неспеша раскладывают на дороге коврики, приготавливаясь к вечерней молитве. С голыми ногами, они подходят с молитвой к воде, и читают по-арабски:

«О верующие! Когда становитесь на молитву, омывайте лицо ваше, и обе руки ваши, и обтирайте ваши головы, а ноги до ладыжек. Всякий, кто тщательно совершает омовение, очищает свое тело от всяких грехов, хотя бы грехи скрывались под ногтями пальцев . . .»



В такое время нас доставили в казарму, у закрытых ворот которой, сидя на корточках, дремал часовой. По его ленивым движениям было видно, что он скучает, и в то же время, очень дорожит своим бездельем. Ему было хорошо, покойно, и он с удовольствием думал о том, что ему хорошо, и не хотел ни чем нарушать свое спокойствие. «Зачем пришли эти русские, чего им надо? — подумал он с раздражением в сердце, подымаясь с корточек. — Эти русские всегда желают того, чего никогда не бывает...»

Он с сожалением посмотрел на нас, пропуская в ворота.

Отведенное для нас помещение закрывалось снаружи висячим замком. Каменный пол был покрыт цыновками, а в нише стоял ручной фонарь. Фонарь когтел, попыхивал, как перед смертью, бумажные заплатаы на стекле начинали гореть, и воздух радостно врывался во внутрь, раздувая пламя. При свете фонаря были видны белые стены, исписанные в разных местах короткими надписями, именами, фамилиями побывавших здесь до нас людей, бежавших из России. Некоторые надписи смешили, вроде: «Курица не птица, а Персия не заграница!». Другие, были бодрые, наполненные надеждой, а в некоторых слышался стон наболевшей души.

Я ходил от надписи к надписи, точно от человека к человеку, разговаривая с ними, как с живыми людьми.

— Что вы делаете? — окликнул меня в это время часовой, просовывая в щель двери зажженную папиросу. — Ведь уже утро!



Начальник пограничного поста, несмотря на свой преклонный возраст (ему было уже под шестьдесят лет), был все еще в чине капитана, что его, впрочем, нисколько не огорчало. Напротив, в этом маленьком городке, где даже капралу оказывают чрезмерные почести, начальник поста чувствовал себя, по меньшей мере, губернатором. Его здесь боялись, слушались с первого слова, старались ему угодить, заискивали перед ним, и всячески одаривали его, хотя по своему характеру, был он человеком вполне смиренным, даже, я сказал бы, добрым и отзывчивым; он плакал, когда кого-нибудь жалел.

Проснувшись в это утро от сладкого и безмятежного сна, начальник поста вынул теплые ноги из стеганного одеяла, отыскал ими стоптанные, но все еще мягкие ночные туфли, закурил длинную трубку, и надев военный китель с позументами, пошел без штанов на базарную площадь узнавать новости и посмотреть, как идет торговля. В ковровом ряду у него были близкие друзья, с которыми он откровенно делился, советовался обо всем и брал у них займы деньги.

— Много нового, дорогой мой, много нового... — говорил он усаживаясь с ногами на ковре, куда сам хозяин-трактирщик уже нес ему поднос со стаканчиком золотистого чая, куском овечьего сыра, и ломким, еще не остывшим, хлебом-лавашем.

— Скоро, наверно, вся Россия перебежит в Иран; уже бегут знатные люди, очень важные, а выглядят они, как хаммалы (грузчики),

хуже нищих. Солдаты говорят, что на них жалко смотреть . . .

При этих словах, начальник поста готов уже был расплакаться, но его прервал трактирщик, говоря:

— Ваше превосходительство (так величали его здесь все), позвольте мне угостить чаем новых беглецов. Они, несчастные, наверно сильно проголодались. Ведь в России теперь люди всегда хотят кушать . . .

— Да, да . . . — обрадовался капитан, — ты уж их накорми, пока я распоряджусь насчет питания. Они все равно на казенном довольствии, ты не беспокойся, за все получишь сполна . . .

Скоро с нашей двери был снят замок, и в сопровождении караульного, трактирщик внес живительный чай с куском овечьего сыра и ломким, хрустящим хлебом-лавашем. С этого времени, к нам допускали только брадобрея, смиренного и на редкость молчаливого старика, и трактирщика, жгучего брюнета, с бархатными глазами и шелковой бородкой, для ношения которой он имел специальное разрешение. Это был недавно освобожденный из тюрьмы армянин, состоявший в свое время на военной службе в русской императорской армии, и осужденный за прелюбодеяние (говорили, что он проник в гарем знатного перса) на пятнадцать лет тюремного заключения.

— Почему так жестоко поступили с вами? — спрашивал его я.

— Жестоко? — удивлялся армянин. — А все здесь считают, что меня помиловали. В то время в Персии не было законов. Если кто убил, его тоже убивали, без суда. Если кто ук-

рал — ему н месте преступления отрубали топором кисть руки, а за повторное воровство — всю руку. Таких безруких можно встретить не мало по всей Персии. И хотя многие из них стали честными людьми, но им все равно никто не доверяет. Теперь Реза-шах завел законы, учредил суды, выстроил хорошие тюрьмы . . . — продолжал он, отзываясь с похвалой о новых временах. — А прежде . . .

И он стал рассказывать, как судили его семеро мулл в зеленых чалмах, при помощи корана и четок. По четкам они определяли преступление, а по корану устанавливали наказание. Но он уверял нас, что его погубили не муллы, не четки и не коран, а черная кошка, перебежавшая дорогу, когда жандармы вели его на суд.

— В хорошее время пришли вы в Иран, — уверял нас трактирщик-армянин. — Теперь даже в тюрьме сидеть здесь не страшно. А прежде . . .

Прежде, рассказывал он, персидские тюрьмы не отличались удобствами. Арестантов держали в темных землянках на цепи, и при них глиняный кувшин с водою. Кормили их, время от времени, одним лишь хлебом, и случайным подаванием сердобольных людей. Не редко часовые забывали о заключенных, тем более если во время своего дежурства они занимались мелочной торговлей, или курили опиум. Летом стены тюрьмы пересыхали от зноя, и тогда к арестантам проникали через щели сострадательные женщины, которые приносили несчастным милостыню и свою непродолжительную любовь. На зиму стены снова заделывались землей, но дожди размывали крыши,



и тогда заключенные могли видеть над собой грязное небо, наполненное тяжелыми тучами и легкими душами усопших.

— Теперь лучше, — повторял он не унимаясь, — может быть и строже, но все по закону, по справедливости . . .

Я смотрел на него и поражался:

«Этот человек много лет сидел на цепи, был забыт людьми, жил случайными подачками сердобольных женщин, и не погиб. Он все еще весел, жизнерадостно улыбается, смотрит на всех плотоядными глазами, и полон сил. А нынче, из наших советских тюрем выходят калеки, дряхлые неузнаваемые старики, преждевременно состарившиеся, малоумные и идиоты . . . А он хочет заставить нас поверить, что теперь лучше . . .»

## VI

Между тем, беженцев из России прибывало в Иран несчетное количество. И это были лишь те немногие, которым удалось обмануть пограничную стражу, не быть захваченными советскими пограничниками, усилившими свой дозор вдоль всей персидской границы. Были среди бежавших совсем молоденькие девушки, бросившие родительский дом ради личного счастья. Но были и пожившие уже люди, усталые и угрюмые, видно испившие до дна горькую чашу советской жизни; эти не искали счастья, они хотели только спастись. Много было среди бегущих простого люда, из крестьян, которые уносили с собой все, что могли, волочили на себе малых ребят, идя к неизвестной цели; всех их персы называли «малаканами», и охотно помогали им заново оседать на землю.



Их не долго томили в заключении, и на третий день отпускали на свободу заниматься честным трудом.

Так рассказывал нам по секрету, приставленный к нам караульный, который, время от времени, предлагал папиросу и свою вечную дружбу. В это время послышалась команда и показался начальник поста, направлявшийся к нам. Все солнце казалось смотрело сейчас на это детское лицо старика, густо обросшее волосами.

— Бедные! — сказал он, войдя в помещение, и велел сопровождавшему его солдату принести ковер и приготовить чай.

— Вы не одни, — продолжал он, указывая рукой на притаившиеся вдали горы. — Там, под каждым камнем прячется сейчас какой-нибудь русский беженец. Многих неосторожных пристреливают пограничные патрули. Наши солдаты часто слышат, как стонут подстреленные люди. Прошлой ночью наши солдаты привели троих русских. Как они напуганы! Они не похожи на людей... — и обернувшись к часовому, стрик велел привести их.

— Вот вы сами увидите, — говорил он, приглашая нас быть его гостями, когда внесли самовар и чайную посуду. Старик любил посидеть над чаем ни о чем не думая, потом не спеша обмакнуть в нем сахар вместе с пальцами, и обсосав пальцы, бережно отпивать чай небольшими глотками. Пока он проделывал магические заклинания над чаем, дверь незаметно отворилась; осторожно, почти крадучись, одетые в одинаковые сносенные шинели персидских солдат, все трое остановились у порога, не решаясь войти.

— Чего вы боитесь? — обратился к ним старик. — Вы так несчастны, что только мертвые могут позавидовать вам...

Они не знали персидского языка, и не понимая, что он говорит, пугались каждого слова. Прикрываясь плотнее шинелями, одетыми на голое тело, им было совестно смотреть людям в глаза. Они были похожи на ослепших в шахтах рабочих лошадей, все еще сильных, но которые умели ходить только в потемках, и только по заранее проложенной колее, а при свете и на открытом месте не знали дороги. Они выглядели потерянными, как дети заблудившиеся в лесу, как брошенные на дороге раненные, нуждавшиеся в скорой помощи.

«Кто они? — думал я, рассматривая эти простые лица с притаившейся в глазах скорбью, по которой мы сразу узнаем своих. — Кто-же они? Не царские ведь министры, не дворяне, не промышленники какие-нибудь или купцы, не мещане даже, дразнящие коммунистическую власть жаждой своего маленького личного благополучия. Почему-же они бегут?..»

— Наши!.. — вскрикнула в это время осмелевшая женщина, и громко заплакала, всхлипывая и вытирая рукавом шинели слезы.

— Мы здесь чужие, но все здесь жалеют нас. Вот он добрый, сразу видно, — сказала она показывая на старика. — У нас даже добрый человек, и тот злой. Ничего не поделаешь, такая у нас у всех служба, что нельзя быть добрым. Вы это сами знаете...

При каждом слове, лицо женщины открывалось, становилось светлее и общительнее, и уже вся она была видна, как на ладоне. Та-

ких много у нас, во всех деревнях и селах, на скотных дворах, и в поле на каждой борозде. Это она, с подоткнутой юбкой, всегда босая, с песней сгребает из-под скотины навоз на скотном дворе, а утром, при темноте, уже спешит с подошником к коровам. Она телку приласкает, непутевому бычку погрозит, свинью обругает и пожалеет, и каждой твари даст имя человеческое. Она всякую нужду стерпит, от работы никуда не убежит, и во всякое время, — зимой и летом, — лопата всегда при ней. Она все умеет, она — кроткая . . .

— Мы между собой чужие, — продолжала тем временем женщина, не умолкая.

— Мы когда ночью встретились за камнями, до того напугались, до того напугались, что хотелось сразу без мучений помереть. А потом, стали присматриваться друг к дружке — похоже на то, что мы друг друга одинаково боимся. Тогда страх прошел, и даже весело стало — не одни теперь. А вы откуда? — спросила девка, покрасневшись, точно от сильного бега.

— Из Москвы? Боже! . . — вскрикнула она, и притихла. — Мы московских боимся. Всякое ведь несчастье теперь из Москвы . . . Как же это вы, на самолете заблудились?

Пока она говорила, скучавший старик стал сладко дремать, точно сытый кот, пригретый солнцем; он даже мурлыкал по-кошачьи, предаваясь, должно-быть, сладким сновидениям. Скоро нежное его мурлыканье перешло в откровенный храп, застревавший у него в глотке, давая полную волю своему наслаждению. Он заражал своим сном стоявшего у двери часового, и писаря, сидевшего в канцелярии за

стеной. Боже, какой это был беззаботный и всех заражающий сон! Повидимому, эта счастливая способность засыпать во всякое время и на всяком месте, сильно облегчала ему военную службу. Пока человек спит, он впадает в прекрасное заблуждение, и кажется ему, что все вокруг него тоже медленно и сладко засыпает. Тогда спят с ним не только все его предки, но и все потомки, — от Каспийского моря до Персидского залива, — во всех десяти провинциях империи царя царей.

---



## КРАСНЫЕ ТУЧИ

(Очерк)

### I

Персы любят тишину и покой, Их неторопливость и умеренность происходят не от праздности и лени, а от духовной зрелости. Им некуда торопиться, они все уже узнали, все поняли, и точно отделили хорошее от плохого. Фанатически исповедуя религию Магомета, они в тоже время все еще остаются в душе последователями Зороастра, какими были их предки. Тайной является для них земная жизнь, но не небесная.

Персы находят радость под каждым деревом, возле которого протекает небольшой ручей. Они могут сидеть здесь неподвижно, от восхода до захода солнца, как будто жизнь вокруг остановилась.

Для персов, жизнь европейцев, все равно, что для нас жизнь индейцев.

Зачем они так мучаются? — спрашивал у меня один молодой перс, недавно вернувшийся из Европы. Он рассказывал мне о своей поездке в Париж, как о несчастном случае.

— На улице было много лишнего света, — говорил он, все еще сильно переживая. — Мне все мешали, и я всем тоже мешал. Все куда-

То торопились, и я, глядя на них, тоже стал торопиться, хотя спешить мне было некуда. Вокруг меня было так много людей, что я не мог понять, для чего все они собрались здесь? Смотри на меня, все улыбались, как тихо помешанные, и я тоже старался улыбаться, подражая им, хотя мне было совсем не весело. Наконец, я с трудом выбрался на дорогу, стал среди гудевших на меня машин, и заплакал . . .

Тишина и покой — в этом вся земная радость перса.

Но с тех пор, как персидский солдат из русской казачьей бригады провозгласил себя шахом — персы потеряли покой. Старого Реза-шаха Пехлеви называли здесь добрым деспотом, потому что персы, в одно и то же время, питали к нему любовь и ненависть. Он был неограниченным монархом и большим патриотом своей страны. Реза-шаху удалось поставить на ноги Иран, и повлиять на психологию уснувшего перса, работая часто палкой, кнутом и шомполами.

С этого времени, персов стали обучать современной жизни, как учат малых детей ходить. Полиция строго следила, чтобы население городов и деревень ничем не отличалось от европейцев. За небритую бороду судили, как за государственную измену. Тяжело было персам отказаться также от войлочной шапки, которую не принято было снимать даже во время сна. Новый закон предписывал всем мужчинам носить верхнее белье поверх нижнего. Женщинам разрешалось вступать в брак не раньше, чем в тринадцать лет. Чадра, с которой связано у персиянок понятие о женской чести, была объявлена вне закона.

Отвыкшие от труда персы зашевелились — у всех появилась мечта стать инженером. Перестала быть почетной мелочная торговля, которую персы предпочитают оптовой. Вместо жареного гороха, в лавках появился асфальт, железо, цемент. Незаметно для всех Тегеран преобразился. Куда девались смрадные улицы старого Тегерана с дохлыми крысами и удушенной ими кошкой. Вылепленный из глины город был известен теперь только по преданию. Как-то очень скоро стали ходить поезда в местах, откуда прежде убегали люди и улетали птицы.

На грузовиках развозили серебряные деньги для расплаты со строительными рабочими. Каждый землекоп, после сезона своей работы, уносил домой мешочек серебра. Для выплаты жалования десятникам и постарше, приходилось нанимать подводку. Люди бунтовали, они требовали бумажных ассигнаций.

У Реза-шаха завелось не мало завистников и врагов. Не трудно догадаться, кого больше всего раздражали такие успехи. Все здесь только и говорили теперь о невидимых большевиках, которые всюду и нигде, и живут среди людей, как злые духи. То неожиданно обнаруживали провокатора в захудалой лавченке, где богобоязливый перс, с головой перевязанной чалмой и с четками в руках, скромно торговал лечебными травами, изюмом и арбузными семечками. Рассказывали, что в тюрьме умер министр двора Тимурташ, который втихомолку получал взятки от советской разведки. Много говорили о шоферах, живущим по двум паспортам — персидскому и советскому, а транспортные конторы называли



притонами коммунистов. Дурной славой пользовалась советская больница в Тегеране, где даже больных привлекали большевики для секретной службы.

К тому же, Реза-шах имел опасных врагов в лице духовенства, потерявшего свои былые права и привилегии. Недовольство росло и среди зажиточного населения, у которого Реза-шах отбирал поместья, принуждал продавать ему подешевле землю. Вся богатая область Мазендеран перешла в его личную собственность. Так, многие близкие друзья шаха превращались в его врагов. И когда, в 1941 году, Реза-шах отрекся от престола, это не вызвало большой печали в стране. Одни считали, что он сделал для Ирана все, что мог, и время его кончилось. Другие персы находили себя зрелыми для самостоятельной жизни, без палки, кнута и шомполов. Но многие плакали, когда старик увозил с собой в Египет глиняный горшок с горстью черной родной земли.

## II

Молодой шах Магомет-Реза Пехлеви во всем отличается от своего отца. Детство провел он во Франции, юность — в Швейцарии, где развивал свои спортивные чувства и обучался языкам. Шаха часто можно видеть за рулем машины. Он умеет также хорошо управлять самолетом и кораблем, но больше всего он любит строевую службу.

Реза-шах женил своего сына, тогда еще наследника, на красавице, принцессе египетской Фавзие, но этот брак не принес счастья ни ему, ни ей. Их счастьем не помогли ни сва-



дебные карнавалы, ни уличные шествия толпы с факелами, зеркалами и газовыми лампами, ни выстроенный для них дворец из редкого розового мрамора. Родившийся ребенок не сблизил их, а послужил поводом для развода: это была прекрасная девочка, а шах требовал от жены мальчика. Так говорит молва. Во всяком случае, шах снова женат, а бывшая шахиня снова замужем.

Рассказывают, что молодой шах любит появляться среди простых людей незамеченным, чтобы узнать у них о себе правду. Если отца его обвиняли в жадности, то сына следует обвинить в расточительности. Говорят, что шах скоро пойдет с сумой — все свои личные средства и наследство отца он тратит на постройку больниц, школ, приютов. Он отказался от многих своих поместий в провинции Мазендеран. Но более всего, его доброй репутации содействовал демократический образ правления, введенный им впервые в истории Ирана. Этим немедленно воспользовались коммунисты, которых персы называют «ференги», что значит, иностранец. Надо сказать, что с понятием об иностранцах связаны у персов самые худшие воспоминания; иностранцами были для персов и древние мидяне, и парфяне, а затем арабы и монголы, одним словом все, так называемые «захватчики», или «агрессоры».

С этого времени, в Иране стала легально существовать и промышленность советская пятая колонна под названием народной партии «Тудех». Во время войны, вместе с оккупационными войсками большевики привезли в Иран и персидских коммунистов. Тегеран наполнился подозрительными людьми в кепках, по лицам

которых не трудно было узнать их происхождение. Это были политработники и переодетые в штатское советские военнослужащие, переходившие открыто северную границу для поддержания беспорядков в Иране. На улицах появились торговцы апельсинами, внушавшие не малый страх мирному населению. Все знали, кто скрывается за этими душистыми апельсинами.

— Кароший сладкий апэлсын! . . — раздавался этот тревожный сигнал заговорщиков на всех углах.

Большевики готовились захватить власть в Иране.

— Ваши русские совсем потеряли совесть, — говорил мне плешивый чистильщик сапог, Барат-Али, который называл себя министром старой династии Ахмед-шаха. Я знал его, как поклонника русских, и он очень гордился своим плохим русским языком.

— Это несправедливо, Барат-Али, — возражал я, — русские больше всех страдают от большевиков.

— Не серчайте, — отвечал он смущенно, — я плохо запоминаю иностранные слова, но все равно, это не люди; они приходят в дом своего друга, который отдает им все, что у него есть, а они за это делают пакости. Как можно быть в одно и то же время другом и врагом?

### III

Нигде нельзя встретить столько нищих и попрошайек, как в Иране. Милостыню любят просить здесь все, не редко и довольно богатые люди, переодевшись в нищих. Вообще,

трудно бывает отличить бедного перса от богатого по его одежде, вкусам, понятиям и желаниям, если он держится старых устоев мусульманского быта. Но всё-же, бедных здесь много больше, чем богатых, и больных больше, чем здоровых.

— Если бы у нас было столько воды, сколько нефти, мы накормили бы хлебом всех живущих на земле, — уверяют персы. — Земля без воды, все равно, что женщина без мужчины . . .

Здесь посеvную площадь меряют метрами и сантиметрами, а воду — литрами. По размерам бассейна в персидских дворах, узнают о благосостоянии хозяина. Каждую струю воды персы называют рекой. И хотя Иран славится садами, но эти сады являются привилегией не многих, и обнесены такими плотными стенами, как будто за ними содержится золотой запас страны. Перс приходит в необычайное волнение, когда дети лазят по деревьям или мнут траву. Редко кто из персов знает название для зеленой площадки или широкого поля. Всякое открытое место они называют б и я б а н , или по нашему — пустыня.

Еще более печальное чувство вызывают мертвые иранские горы, которым знают цену одни лишь каменотесы. Многие персы не знают — что там? Есть ли за этими горами другая земля, или может быть «там» конец всего земного?

Ко всей этой бедности персидской природы, следует прибавить бедность персидских крестьян, все еще живущих в средневековьи; так же, как и в старину, людей здесь кормят верблюды, ослы, овцы и козы.



Коммунисты возлагали большие надежды на то, что нищета и бедность помогут им овладеть страной. Они открыто признавались, что Иран могут взять голыми руками. Для них не было никаких сомнений, что все нищие, бродяги, паралитики, калеки и слепцы побегут навстречу портретам Ленина и Сталина. Но все произошло наоборот. Чувство страха, связанное у всех с понятием о коммунистах, охватило персов, когда стало известно, что советские войска перешли персидскую границу. Нельзя было понять, чего больше боялись персы: бомб, падавших на их тихую, уснувшую землю, или людей, бросавших эти бомбы. Было жалко смотреть на кричавших среди улицы персов: «мордем!», что значит: «я уже умер!». По всем дорогам, по тропинкам хоженным и нехоженным, можно было встретить толпы бедняков, уносивших от коммунистов свои кастрюльки, самовары и ковры. Пастухи угоняли стада в горы, потому что никто не хотел променять своих баранов на социализм.

Вместе с персами, во второй раз, бежал тогда и я от большевиков из северного Ирана в южный, оккупированный союзными войсками. По пути я зашел проститься с моим персидским другом, каменотесом-философом, Хаджи-Ага, который всегда помогал мне добрым советом.

Старый, как черепаха, он сидел свернувшись на коврике перед бассейном и, перебирая четки, пил чай и курил трубку.

— Хаджи-Ага! — сказал я с тревогой. — Почему вы так спокойны, когда всё охвачено паникой, как пожаром?



Он усмехнулся, потом не спеша допил свой чай, докурил трубку, и медленно произнося слова, сказал:

— Дорогой друг мой. Разве Бог не везде с нами? Никогда не надо терять спокойствие. Поверьте мне, Бог сильнее большевиков!

\* \* \*

\*

— Чего хотят от нас эти люди в кепках? Почему они мешают нам жить? — жаловались повсюду персы, когда большевики устраивали беспорядки, вооружали одну провинцию против другой, призывали рабочих не работать, крестьян не сеять, пастухов не пасти овец. В это же время, советский посол дал знать иранскому премьеру, что в Тегеран едет договариваться о нефтяной концессии заместитель министра иностранных дел, Кафтарадзе. Ни у кого это событие не вызвало радости. Но иранский премьер обещал содействовать его миссии. Эту форму вежливости большевики приняли за согласие. Кафтарадзе прилетел отбирать у персов нефть. Теперь, каждый произносил здесь имя этого советского сановника, как ругательное слово. Никто не сомневался, что речь идет не о нефтяной концессии, а о широком плане советского завоевания Ирана. Персы справедливо негодовали, потому что считали себя союзниками победителей, а не побежденными, и не могли понять, за что требуют у них большевики такую непосильную контрибуцию? Иранский премьер объяснил зарвавшемуся послу, что преждевременно говорить о концессии пока в Иране стоят советские оккупационные войска.

Тогда все торговцы апельсинами и подозрительные люди в кепках, проникшие в Иран без паспортов и виз, устроили демонстрацию протеста. Они открыто обещали зарезать премьер-министра, как барана, если он не отдаст большевикам нефть.

Уже никто не надеялся, что когда-нибудь можно будет снять военное положение, и персы примирились с этой хронической опасностью, грозившей им с севера, как примиряются с затяжной болезнью.

Между тем, Тегеран продолжал жить своей беспокойной жизнью большого азиатского города. Улицы, как всегда, были полны праздными людьми. Запах съестного попрежнему кружил голову прохожим, и трактирчики ловили голодных на «палочку» кебаба. Со всех сторон наступали на прохожих продавцы фруктов, неся на своих головах фруктовые сады. Голубые автобусы с дребезжащими кузовами гонялись за пассажирами, и часто можно было видеть среди улицы умирающего ребенка, раздавленного колесами, или сбитых с ног раненых лошадей.

В эти дни особенно бойко шла торговля на базаре. Черный sklep, закрытый навсегда от солнца, казалось шевелился от людей и ослов. Здесь можно было встретить хлам, который давно уже вышел из употребления, и рядом с ним дорогие ковры, над которыми трудились персидские дети, пока не состарились. За такой ковер можно купить дом, или стадо овец, или целое селение. Нигде еще я не видел такого изобилия серебра, выставленного рядом с битой посудой и глиняными черепками. Золотые монеты разных времен и разных стран

лѣжали грудями на простых тарелках, в глубоких нишах. Трудно было поверить, что в этих гниющих трущобах, с острым запахом разложения, лежат неисчислимыя земныя богатства.

Но, как только советскія войска приближались к стенам Тегерана, все эти земныя богатства теряли для персов всякую цену, как и сама их жизнь.

Север Ирана был теперь для персов «заграницей» — туда ездили с разрешения советских властей, которые подвергали пассажиров в пути обыскам и допросам. На юго-востоке Ирана, вооруженные коммунистами курды, для которых грабежи и разбойничьи набеги являются ремеслом, объявили себя прогрессистами и обещали построить социализм. На нефтяных промыслах юга Ирана начались беспорядки. Коммунисты призывали рабочих бросать работу и заняться классовой борьбой. Отовсюду приходили длинныя списки убитых и раненых. Персы не на шутку заволновались. С набожным чувством, они обращали теперь свои лица к Объединенным Нациям, как будто могила пророка была перенесена из Мекки в Нью-Йорк.

## V

Во всех харчевнях, на проезжих дорогах, в караван-сараях и в глиняных землянках — повсюду, где только живет человек, говорили теперь о коммунистах. С этого времени, коммунистом называли не всякого иностранца, а только русских. Мне было трудно переубедить персов в этом заблуждении, сколько не старался я объяснить им, что коммунистом может



быть только тот, для кого не существует понятия о родине и национальности.

— Разве это не русские? — спрашивали меня персы, указывая на советских солдат и офицеров.

— Их скорее можно назвать советскими пленными, чем русскими солдатами, — возражал я. — Эти люди больше смерти боятся большевиков. На их лицах вы никогда не увидите улыбки. Они на много несчастнее вас . . .

Но это были напрасные усилия. Персы приписывали теперь русским даже преступления персидских коммунистов в Азербайджане.

— Скажите, — спрашивали меня персы со злой усмешкой, — какие часы больше любят советские солдаты: стенные или карманные? — имея ввиду выкупить за них у дикарей свою жизнь. Некоторые срочно принялись изучать те русские слова, которые больше всего любит советский диктатор. Вскоре все уже знали, что если кому дорога жизнь, то следует тирана называть добрым отцом и ясным солнышком.

Никто не сомневался в эти дни, что персидской независимости пришел конец. И как-то вдруг, неожиданно для всех стало известно, что советские войска оставляют Иран. В те дни, все персы научились произносить трудные для них слова — «Объединенные Нации». Люди выносили на улицу свои лучшие ковры, устилали ими пыльную дорогу, выставляли наружу предметы роскоши, укрепляли зеркала на стенах домов, и у каждого дома зажигали керосиновые и газовые лампы. Женщи-



ны поливали из окошек водой дорогу, по которой уходили советские солдаты. Смеющиеся старики резвились на улицах, как малые дети.

За несколько дней до моего отъезда из Тегерана произошло событие, которое возвратило всех к воспоминаниям о недавнем прошлом. День был солнечный, но холодный. Говорили, что в горах выпал снег. В такие дни персы любят сидеть у огня, накрывшись ватным одеялом. Между тем, улицы были полны народу — все шли встречать шаха, возвращавшегося из университета, где он выступал перед студентами с приветственной речью. Персы любят своего молодого шаха. В то время, когда толпа, прорывая охрану, с криками: «да здравствует царь царей!» лезла под колеса машины, — кто-то, прикрываясь фотоаппаратом, приблизился к дверям. Глаза его горели, как у опиениста, которые накурившись, отличаются особенной ловкостью, энергией и решительностью. С быстротой, никем незамеченной, он выстрелил в лицо шаха, но пуля задела только фуражку; вторым выстрелом он прострелил щеку, но третьего не последовало — преступник был смят и растоптан толпой на месте, так что в нем уже нельзя было узнать человека.

— Смерть «Тудех»!.. — кричала толпа, полная решительности и злобы. Никто не сомневался, что это покушение — дело рук все тех же черных сил, которые покушаются на жизнь Ирана.

Город снова был объявлен на военном положении.

В то холодное раннее утро, когда мы уезжали на аэродром, улицы Тегерана были пол-

ны вооруженными солдатами. Они стояли группами у небольшого костра из хвороста, опуская в огонь прозябшие руки. Солнце покрывало белые от снега горы утренним румянцем. Вдали от всех одиноко стоял, как памятник вечности, мохнатый от снега Демовенд. А на небе разгорался пожар. Тяжелые красные тучи не обещали хорошей погоды.

---

## ЛЮДИ С УЦЕЛЕВШЕЙ ДУШОЙ

Прокладывали тогда железную дорогу от станции Самсоново, лежащей в песках у самой афганской границы, к городу Дюшамбе, и дальше — вглубь горной страны Памир, в эту былую провинцию Бухарского ханства, известной нынче под названием Горного Бадахшана. На Памирах летом стоят лютые морозы, и, в то же время, в долинах — мучительная жара, которая иногда достигает температуры кипения воды. Огромные ледники заливают долины бурными золотоносными реками, и повсюду здесь бьют целебные ключи минеральных вод. В этой каменной стране, отделенной от всего мира суровыми горами, долго жили в неизвестности таджики, бежавшие сюда в свое время от завоевателей-монголов. Всегда грязные, живущие впроголодь, копошащиеся, как земляные черви в своих сложенных из камней саклях, они были всем довольны, и во всем находили радость. Их радовала кружка холодной воды и кусок пресного хлеба, потому что эта вода и этот хлеб не легко доставались им; сахар и чай с куском овечьего сыра делали их вполне счастливыми.

Вот гонит таджик своего осла по шаткой подвесной горной дороге, настланной хворостом, и поет песню; он не боится упасть, он только боится за осла, который несет в меш-

ке из бараньей кожи землю, чтобы оплодотворить скалу. Так, изо дня в день, может быть месяц или год он свозит к себе землю, и ему будет довольно собранного с нее урожая. Он трудолюбив и благочестив, он все делает сам, ни перед кем он не в долгу, и твердо верит, что глава секты Исмаилитов, Ага-хан, есть истинный наместник Бога на земле. Для него, а не для себя промывают таджики золото в реке Пяндж. Для себя им не нужно золото, которое не родит хлеба, не кормит овец, не дает молока и сыра, и из которого нельзя построить себе сакли.

Строительство дороги напугало жителей гор, как пугает рубка леса птиц, настроивших на деревьях свои гнезда. Старого города Дюшамбе, что означает «понеделник», куда съезжались таджики по понеделникам на большой базар, — этого города как будто никогда не существовало. Все было снесено, все сравняли с землей, и построили кирпичные дома с дверьми и окнами, а землю, на которой росла трава, залили асфальтом. Не стало больше города Дюшамбе, даже название его исчезло, и на его месте появился чужой всем, ненужный таджикам Сталинабад.

Туземные жители приходили в отчаяние, когда приближался к ним современный человек, разрушавший весь уклад их жизни, вносящий беспорядок и много беспокойства в патриархальный быт этих неиспорченных людей, искавших на земле душевного покоя.

Приехав в Самсоново, я пересел на высокую арбу с двумя огромными деревянными колесами, которые лениво перекачивались, бросая меня от одного колеса к другому, точно



На морё при сильной качке. Эту тяжёлую арбу тащила низкорослая арабская лошадь, верхом на которой сидел возница-таджик с русской бородой, голубоглазый, напоминавший рязанского мужика. Повидимому, памирские горы защитили таджиков от монголов, тюрков и арабов — они остались индо-европейцами, сохранили в чистоте свою иранскую кровь.

— Много теперь у вас строят, — заговорил я с возницей по-таджикски, вызывая в нём расположение к себе знанием языка. — Вот, говорил я, дорогу строят, каналы роют, и скоро вся ваша земля зацветет хлопком...

На лице таджика не появилось радости. Он только снисходительно улыбнулся, показывая своей улыбкой, что он понимает больше меня и знает какую-то, ему одному известную, правду. Помедлив немного, он сказал:

— А зачем мне все это? Раньше у меня в Дюшамбе был свой дом, а теперь у меня нет дома. Раньше у меня была в Гарме своя земля, а теперь у меня нет земли. Я стал беднее, чем был когда-нибудь прежде...

Через десять дней я уже был на самой окраине нашей большой страны, и крепкий, ко всему привыкший осел нес меня на своей спине по опасной подвесной дороге, где жизнь и смерть ходят рядом. Я приближался к городу Хорогу, этому главному и единственному городу Горного Бадахшана, по улицам которого плавают облака. Заваленный безобразными камнями, этот город напоминал о первых днях сотворенной Богом земли. Здесь небо казалось ближе, чем земля, и с каждым

новым подъемом дышать становилось труднее.

Я остановился на ночлег в придорожной чай-хане, на перевале, и не успел заметить, как толпа босоногих таджиков, одетых в пестрые ватные халаты, требовала допустить их к «писарю» из Москвы. Я спросил у несчастных, чего им от меня надо?

— Добрый господин, — говорил за всех один наиболее смелый старик, пригибаясь при этом, как будто его ужалила змея. — Нас теперь здесь все притесняют и за нас некому заступиться...

Он стал просить меня передать в Москве жалобу русскому царю на советскую власть.

— Русские нас никогда не притесняли, — продолжал старик, смотря на меня слезящимися глазами. — Мы знаем русских, они и теперь живут среди нас. В Хороге, например, много русских со своими женами и детьми...

От них я узнал тогда о большой группе русского населения, живущей в Хороге может быть сто лет. Там стоял бесменно русский пограничный отряд, пополнявшийся новыми силами только тогда, когда старые солдаты умирали или гибли в суровых условиях высокогорной службы. С приходом к власти большевиков, они навсегда поселились в этой глуши, надеясь, что горы и камни защитят их от большевиков, как в свое время они защитили таджиков от Чингис-хана. Этим русских уже нельзя было отличить от таджиков — они подражали им во всем, приспособляясь к условиям местной жизни. Мужчины носили пестрые ватные халаты, расписанные цветами не растущих на Памире роз, подстригали по таджикски усы и бороды, и научились часами

сидеть на скрещенных ногах, греясь у мзгала с тлеющими углями. Русские женщины носили здесь шаровары, завязанные узлом у самых щиколоток, украшали себя тяжелыми браслетами и мелким серебром, вышедших из употребления монет. Волосы зачесывали они в крутые мелкие косички, точно намеренно стараясь повредить красоте своего русского лица. Но это наружное превращение не повредило их душе — они сохранили в чистоте свою православную веру, которая давала им все, в чем испытывает нужду верующий человек. Каждый русский дом напоминал здесь часовню с расписанными стенами, с увезенными из своих родных сёл старинными иконами в позолоченных окладах. Темные, совсем почерневшие лики выступали из них, как живые, и всегда зажженные лампадки горели тем вечным, негаснущим светом, который примиряет и утешает всех. Никто не мешал здесь их усердной молитве, и потому они всегда чувствовали близость Бога. Здесь еще жила среди людей любовь, верующие не скрывали своей веры, добрые не стыдились своей доброты, и чувство сострадания ни у кого не вызывало удивления.

Я присматривался к этим людям с уцелевшей душой, как присматривается археолог к уцелевшим старинным черепкам, пережившим многих гордых и сильных людей, любуясь ими; они обучали меня жить.

Многих напугал мой приезд — они говорили, что уже больше не ждут добрых вестей со своей родины, — точно жили за границей.

Меня поместили в семье бывшего штабс-капитана русской императорской армии, отличного садовода, которого таджики называ-



ли колдуном; он поразил здесь всех своим цветущим садом, потому что никто не мог поверить, что камни и гранит могут родить душистые яблоки, нежные груши и персики с тонкой кожицей.

Утром, днем и вечером они кормили меня фруктами из своего сада, поили зеленым чаем без сахара, иногда отваривали картошку, и ко всему приправой был свежий лук. «Почему все они постное едят?» — недоумевал я, видя их достаток во всем, не зная, что была тогда последняя неделя Великого Поста. Они мне все прощали, только дочь садовода, Даша, поражалась и пугалась моего невежества.

— У нас теперь старые календари отменины, — торопился я оправдать себя, — а в новых календарях святцев не печатают, все от нас скрывают...

— Сейчас каждая душа скорбит, — возражала Даша, и голос её прерывался от волнения. — Сейчас нашего Бога люди судят! — и точно прислушиваясь к страданиям Христа, она затихла, и в глазах ее набегали крупные слезы.

Дашу нельзя было признать за таджичку, хотя и ходила она, как все, в шароварах со звенящим серебром на груди, с бесчисленным множеством косичек на голове. Белокурая, со свежим и открытым лицом северянки, она казалась много моложе своих лет. Она была доброго нрава, и с нею было хорошо, как в теплом жилом доме в непогоду и дожде.

— О чем вы здесь? — сказал входя садовод, и посмотрел с особенным интересом на Дашу, потом на меня, и что-то поняв по своему, аккуратно сел у стены на сбитый войлоч-



ный ковер. Лицо его выглядело усталым, серым, каким бывает гаснущий день, когда уже скрылось солнце и еще не настала ночь. Он снова посмотрел внимательно и с тревогой на Дашу и стал говорить о другом, не о том, о чем сейчас думал. Он рассказывал о плодах, пожаловался на яблоню, которая худеет (он так и сказал «худеет», а не сохнет), и одной стороной совсем уже мертва.

— Ее ветер студит, — рассуждал он сам с собой. — Надо ее теплее укрыть, а не то помрет...

Даша слушала его рассеянно, думая о чем то своем, чрезвычайно для нее важном, и, в то же время, всматриваясь в постаревшее и осунувшееся лицо отца. «Как он стар и слаб», — открылось внезапно ей, — и не зная вполне почему, она заплакала.

— Чего ты, Дарья? — спросил отец, но сам угадывал ее мысли, стараясь всячески утешить. Но она, видимо, не хотела утешиться, и просила его позволить ей плакать.

Скоро наступила ночь. Все разошлись по своим углам и как то внезапно всё вокруг умолкло, затихло, замерло. Лежа на худых ряднах, я прислушивался к тишине, стараясь запомнить и понять эту маленькую жизнь незаметных на земле людей, показавшейся мне вдруг весьма значительной.

За дверью слышались всхлипывания Даши, клавшей поясные поклоны перед образом распятого Спасителя; была Великая Пятница, и Даша хоронила Христа. Я понял тогда, что Даша плакала не напрасно.

. . . . .

Здесь не было ни церкви, ни священника, ни дьякона, ни певчих, и Пасхальную все-нощную службу каждый справлял, как умел, у себя на дому. Отовсюду доносились песнопения, и таджики собирались толпами у каждого огня, чтобы принять участие в радости русских.

В это утро я не узнал Даши. Она стояла передо мной с гладко зачесанными волосами, одетая в светлое праздничное платье. Она вся светилась, радостная и вполне счастливая. Помню, как протянула она мне пасхальное яйцо, точно самое жизнь, и на ее просветленном лице я увидел всё, что совершилось на земле и на небесах. И радость, полная глубокого смысла и сообщавшая надежду, овладела мною. Воскресший Бог, всегда живой, был здесь, среди нас. Он вывел меня из царства тьмы и повел в жизнь вечную.



## О Г Л А В Л Е Н И Е

Предисловие . . . . .	3
Другая жизнь . . . . .	9
Война с Богом . . . . .	16
Весенняя посевная . . . . .	27
Откровенная беседа . . . . .	49
Летуны . . . . .	59
Дочь революции . . . . .	70
Встреча с пустыней . . . . .	79
В гостях у Тамерлана . . . . .	91
Волки . . . . .	102
Побег . . . . .	107
Красные тучи . . . . .	128
Люди с уцелевшей душой . . . . .	142

---